

ПАВЕЛ КОСЕНКО

СЕРДЦЕ ОСТАЕТСЯ ОДНО

Достоевский в Казахстане

Издательство «Жазушы». Алма-Ата — 1969

■ первой среди этих троих мы обязаны назвать Марию Дмитриевну Исаеву.

Сохранилась ее фотография. С нее смотрит на нас глубоким и грустным взглядом молодая женщина с чистым лбом, с тонкими чертами лица, на котором болезнь уже оставила свой след. Сумрачная красота этого лица может нравиться, может не нравиться, но бесспорно, что это лицо незаурядного человека.

Вторая жена Достоевского, Анна Григорьевна, его «добрый ангел», тайно и отчаянно ревновала мужа к памяти Марии Дмитриевны. После его смерти она не жалела труда, тщательно зачеркивая в черновиках писем Федора Михайловича любое упоминание об Исаевой. При активном содействии Анны Григорьевны была создана долго державшаяся легенда об Исаевой — легенда о малообразованной провинциалке со скверным характером, лишь по воле слепого случая ставшей на несколько лет спутницей великого писателя.

Но сам Достоевский думал иначе. Много лет спустя после смерти Марии Дмитриевны, разговаривая в ночной типографии в ожидании гранок с корректором — девушкой другого поколения, семидесятицег, народницей — он вспоминал о Марии Дмитриевне с глубоким чувством: «Была эта женщина души самой возвышенной и восторженной. Сгорала, можно сказать, в огне этой восторженности, в стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова — да! — и чиста и наивна притом была совсем как ребенок, хотя, когда я женился на ней, у нее был уже сын».

И не только у самого Достоевского оставила Мария Дмитриевна светлый след в памяти. Знаменитый географ

П. П. Семенов-Тян-Шанский говорил о ней: «Она оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Ф. М. Достоевский, она была «хороший человек» в самом высоком значении этого слова». А барон Врангель, на глазах которого разыгрывалась мутильно трудная драма любви Достоевского и Исаевой, так характеризовал Марию Дмитриевну: «Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна».

Жизнь этой женщины, умершей тридцати четырех лет, сложилась поистине трагически. Между тем начало ее пути вовсе не предвещало страданий. Она родилась в обеспеченной семье: ее отец, Констант, сын выходца из Франции, служил начальником карантина в Астрахани. Мария Дмитриевна вышла замуж за человека своего круга, Александра Ивановича Исаева, чиновника, служившего на хорошем месте.

Но несколько лет первого замужества совершенно исковеркали судьбу Марии Дмитриевны. Исаев начал страшно пить и быстро совершенно опустился. Из Западного края, где он служил, Исаеву пришлось переехать в Сибирь, где нужда в мало-мальски знающих чиновниках была так велика, что начальство соглашалось смотреть на поведение подчиненных сквозь пальцы, лишь бы они не переходили самой уж последней грани. Но Исаев уже не мог держаться ни на какой грани. И в Семипалатинске он шатался по грязнейшим грошовым кабакам с настоящими золоторотцами. Со службы его вскоре выгнали окончательно. Средств у семьи не было никаких, и она стояла на рубеже нищеты. А у Марии Дмитриевны был на руках маленький сын.

Самым скверным для Исаевой, пожалуй, оказалось то, что пропавший Александр Иванович вовсе не был закоренелым истощителем, эгоистом. Бездельник поневоле, от-



М. Д. Исаева

ставной козы барабанщик, продолжал по-своему любить жену и сына. Полосы запоя и странствий по кабакам перемежались у него периодами искреннего раскаяния, иступленного самобичевания, обещаний начать новую жизнь. Тираном в семье он никак не был, отчетлиwie сознавал свою вину перед женой. «Он был, несмотря на множество грязи, чрезвычайно благороден», — вспоминал о нем Достоевский. И несчастная женщина сотни раз переходила от отчаяния к надежде — до нового запоя мужа. Нервы ее были издерганы невероятно.

К моменту знакомства с Достоевским семья Исаевых семипалатинским «обществом» была отвергнута почти совершенно. Исаев потерял всякие остатки воли. До дна опустившийся пропойца, редкие трезвые дни он просиживал в своем закутке за печью, бессмысленно листая единственную свою книгу — собрание биографий генералов двенадцатого года. Вместе с нищетой пришло одиночество и отчуждение. Лицемерно жалея Марию Дмитриевну, семипалатинские дамы в душе злорадствовали. Они не могли простить ей духовного превосходства, которое невозможно было не почувствовать.

Вероятно, Достоевского особенно поразил трагический контраст между той нищетой, в которой жила Исаева, ее одиночеством и духовным богатством ее натуры. Очень быстро интерес Федора Михайловича к женщине трудной судьбы, женщине, столь не похожей на других чиновниц и офицерш маленького города, превратился в чувство исключительной силы и остроты. Это была первая настоящая любовь, так поздно пришедшая в «действительной жизни» к художнику, с огромным проникновением воссоздавшему уже в своих книгах и робкое обожание Макара Девушкина и глубочайшее чувство мечтателя «Белых ночей».

Кажется, один только раз в его молодости, наполненной мыслью и трудом, промелькнул намек на нечто

добное. Но блестящая красавица, умница, звезда литературного Петербурга, подруга Некрасова Авдотья Панаева, так до конца своих долгих дней и не подозревала, как отзывалось в сердце застенчивого и мнительно самолюбивого молодого литератора ее мимолетное дружеское сочувствие.

Здесь, в Семипалатинске, все было иначе. Для Марии Дмитриевны скоро перестало быть тайной то, что испытывал к ней Достоевский. А что чувствовала к нему она?

Федор Михайлович называл ее в письмах «великодушнейшей женщиной». Нет сомнения, что вначале она приветила Достоевского просто по своей душевной доброте, увидев в нем человека еще более неочастной судьбы, чем ее. Однако сила вспыхнувшей любви Достоевского, исключительное богатство и сложность его духовного мира, которые она не могла не увидеть, увлекли и ее.

Но чем сильнее разгоралась эта страсть, тем более безнадежной и лишенной будущего казалась она Марии Дмитриевне. На пути к соединению стояло два совершенно неодолимых препятствия — ее замужество и бесправное положение Достоевского.

А между тем об их отношениях по Семипалатинску уже пошли сплетни и пересуды. Мария Дмитриевна делала вид, что они ее не задевают, но в действительности они глубоко ранили ее оскорбленную судьбой и потому особенно взвинченную гордость. Этой гордости было бы легче, если бы сплетницы прямо осуждали ее, но в пересудах был оттенок презрительной снисходительности: конечно, при таком муже да при такой бедности и с солдатом свяжешься...

Глубоко страдал и Федор Михайлович. И его тяготы неопределенность будущего их любви. Он мучительно переживал свою вину перед Александром Ивановичем, о которого тоже не было секретом чувство Достоевского, который никогда не поднимал речи о нем, словно

бы каюта соперника великодушием. Описателю «бедных людей» хорошо было понятно это исковерканное, загнанное глубоко-глубоко внутрь и все же живое чувство собственного достоинства, не покидавшее всюду отвергнутого за пьянство маленького чиновника. Через десять лет писатель с потрясающей силой возродил давно уже к тому времени умершего Александра Ивановича в образе Мармеладова.

И все-таки Достоевский верил в счастливый исход своей запоздалой первой любви. Десятки раз, как заклинание, твердил он Марии Дмитриевне, что они еще будут счастливы. Он не плыл по течению, он строил свою судьбу.

К счастью, в это время в Семипалатинск приехал человек, который хоть несколько помог ему в этом.



3

вал и его Александром Егоровичем Врангелем, происходил он из семьи оstsейских баронов, давно осевших в столице империи и принадлежавших к тому кругу обруселых немцев, который составлял костяк петербургской бюрократии. Они пользовались неизменным покровительством Николая, недаром столпами его царствования были такие фигуры, как Клейнмихель, Бенкendorф, Дубельт. Петербургские немцы умело поддерживали друг друга и педантично выслуживались до высоких чинов. Они искренне считали официальную формулу «православие, самодержавие, народность» глубочайшим проявлением государственной мудрости, хотя сами обычно ог Лютера и кирки не отрекались и не скрывали твердого убеждения, что без германского организующего и цивилизующего начала русское государство давно бы растворилось в своих необъятных просторах.

Как добный немецкий молодой человек Врангель, разумеется, относился ко всем своим звездоносным родственникам с полной почтительностью; их немецко-петербургское миро-зрение никогда не было для него предметом обсуждения и тем более осуждения. Но сам он все-таки был человеком уже иного времени.

Тогда нарождалось и делало первые служебные шаги чиновничество другой формации, пережившее свой недолгий расцвет в первые годы царствования Александра П. Это были ужасные либералы, полные стремления служить «делу, а не лицам». Причиной всех зол считали они взяточничество, с искоренением его Россия должна была вступить на дорогу прогресса и со временем достичь высот ^илизации, завоеванных Пруссией и Саксонией.

Идеологом этого близорукого либерализма был одно время 1057 «благодетель» Розенгейм, блестяще высмеянный Добролюбовым, который создал в сатирическом приложении к «Современнику»— «Свистке»— розенгеймовского двойника туповато-самодовольного «прогрессиста» Лилиеншвагера.

У Врангеля имелись такие розенгеймо-лилиеншвагеровские черты. Однако он был все же человеком довольно широкого кругозора, живо интересовался наукой, особенно теми ее отраслями, которые тогда собирательно именовались естественной историей, и литературой. Ранние вещи Достоевского он знал и любил, в шестнадцать лет прочел «Бедных людей» и «Неточку Незванову». Однажды, совсем еще юношей, он увидел и их автора. Было это на Семеновском плацу в тот памятный день, когда царь поставил свою гнусную инсценировку расстрела петрашевцев. Нужно думать, что этот спектакль произвел сильное впечатление на юного лицеиста: шестьдесят лет спустя он с исключительной точностью воспроизвел его картину. Он запомнил и снег, время от времени начинавший падать в это хмурое декабрьское утро, и легкую одежду, в которой зябли «преступники» (арестованы они были в апреле, в весенних плащах их и повезли на казнь; это было одним из проявлений мелочного садизма Николая, как известно, даже расходы на инсценировку казни он приказал взыскать с Петрашевского и Спешнева), двуконные возки-кареты, доставившие петрашевцев на плац — в таких возках тогда развозили смолянок и балетных учениц театрального **училища**, — и обнаженные сабли в руках у конных жандармов, окруживших эшафот.

Некоторых «преступников» Врангель знал в лицо: ведь и Петрашевский, и Спешнев, и Европеус кончили лицей, где учился юный барон (как и Салтыков — еще не Шелрин, — пострадавший первым из петрашевцев; впро-



А. Е. Врангель

чем, вятская ссылка за крамольную повесть «Запутанное дело» спасла его от эшафота на Семеновском плацу).

Окончив учение, Врангель отказался от возможности сделать быструю карьеру в столице (а такая возможность у него имелась) и после года службы в министерстве юстиции попросился в Сибирь. Он, несомненно, был по натуре путешественником, позже изъездил чуть не весь свет. Подогревалась эта страсть к странствиям и примером великого немца Гумбольдта, только что совершившего путешествие по России; Врангель вскоре стал корреспондентом знаменитого ученого.

Молодой правовед получил назначение в недавно созданную Семипалатинскую область —«стряпчим казенных и уголовных дел», т. е. областным прокурором. Было ему тогда двадцать два года.

В ноябре пятьдесят четвертого, после недолгой остановки в Омске, молодой прокурор прибыл в Семипалатинск и в первый же день по приезде запиской попросил Достоевского прийти к нему на только что снятую квартиру.

Дело было не только в желании Врангеля побыстрее лично познакомиться с опальным писателем, автором произведений, которые он высоко ценил. Врангель привез Федору Михайловичу из Петербурга письма.

Переписываться с родными Достоевскому было официально разрешено. Но письма эти тщательно просматривались во многих инстанциях, и «табачный фабрикант» Михаил Михайлович, человек не ахи какого мужества, просто боялся писать брату (об этом мы еще будем говорить). Но от оказии в лице Врангеля он отказаться не мог. О том, что тот отправляется в Семипалатинск, узнать Михаилу Михайловичу было нетрудно — женатый на немке из Ревеля, он был вхож в немецкий чиновничий круг. Вместе с письмом он переслал брату пятьдесят рублей и немного белья. Привез Врангель и письмо от поэта

Аполлона Майкова, хорошего петербургского знакомого молодого Достоевского.

Надо сказать, что письма эти особой радости Федору Михайловичу не доставили. Его коробило, что и в них, не проходивших полицейской цензуры, брат и друг пишут с величайшей осторожностью и даже читают ему нечто вроде нравоучений. В сожалениях о том, что с ним случилось, Достоевский сейчас нуждался менее всего.

Не в передаче этих достаточно пустых посланий состояло значение первой встречи писателя с «господином стряпчим», а в том, что Достоевский сразу же увидел во Врангеле человека, искренне расположенного к нему и — в чем, может быть, больше всего нуждался Федор Михайлович — относящегося к нему с глубоким уважением,

Вот как описывает Врангель эту встречу:

«Достоевский не знал, кто и почему его зовет, и, войдя ко мне, был крайне сдержан. Он был в солдатской сирой шинели, с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрем, с болезненно-бледным лицом, покрытым веснушками. Светло-русые волосы были коротко острижены, ростом он был выше среднего. Пристально оглядывая меня своими умными серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть мне в душу. — что, мол, я за человек. Он признался мне впоследствии, что был очень озабочен, когда посланный мой сказал ему, что его зовет «г-н стряпчий уголовных дел». Но когда я извинился, что не сам первый пришел к нему, передал ему письмо, посылки и поклоны и сердечно разговорился с ним, он сразу изменился, повеселел и стал доверчив. Часто после он говорил мне, что, уходя в этот вечер к себе домой, он инстинктивно почувствовал, что во мне он найдет искреннего друга».

Александр Врангель, дилетант-естественник и либеральный чиновник, сделавший впоследствии неплохую,

хотя и не исключительно блестящую дипломатическую карьеру, оказался очень порядочным человеком, и именно своей порядочностью по отношению к Достоевскому, а не учеными и служебными трудами, заслужил право на нашу признательность.

Не в том суть, что он «хорошо отнесся» к Достоевскому. Многие в Семипалатинске к Федору Михайловичу «хорошо относились». И помочь были непрочь — так, между делом. Но именно Врангель первым понял и прочувствовал трагическое несоответствие, трагическую пропасть между личностью писателя и положением, в котором он находился, преступную непорядочность такой лениво снисходительной «помощи» Федору Михайловичу.

До его приезда расположенные к писателю семипалатинцы (даже Исаева сначала!), поддерживая Достоевского, смотрели на него сверху вниз. Врангель сразу же осознал нелепость этого, понял, что писателю, травмированному унижением каторги, это не может не казаться оскорблением, как бы он ни скрывал того даже от самого себя. С немецкой трезвостью он сравнил масштабы — человеческие — свои и своего нового друга. И дружба областного прокурора и рядового солдата стала дружбой младшего со старшим.

Конечно, неравенство и тем более заискавание тут исключались. Самоуважение у Александра Егоровича тоже было немецкое. Но он умел тактично показать Федору Михайловичу: он, Врангель, вполне понимает, что сделано писателем Достоевским и чего от него можно ждать в будущем. Потому-то Достоевский, обычно трудно сходившийся с новыми людьми («право, на каждого нового человека, по-моему, надо смотреть, как на врага, с которым придется вступить в бой»), очень быстро принял дружбу Врангеля. И ему не пришлось разочароваться в ней. За все ее время между приятелями не пробежала ни одна тучка, не появилось ни одного недоразумения.

О степени быстро возникшей между друзьями откровенности можно судить по тому, что Достоевский скоро познакомил Врангеля с Марией Дмитриевной, и тот стал вместе с ним часто бывать у Исаевых. «Джентльменство» циничного МОЛОДОГО человека из столицы, корректно не замечавшего бедности Исаевых и изгойного их положения в семипалатинском обществе, всячески подчеркивавшего свое уважение к Марии Дмитриевне, поддерживало женщину, измученную сплетнями и нищетой.

Впрочем, смиряться и вести себя «как все» Мария Дмитриевна органически не могла даже в эти трудные свои дни. Она сумела опять взбудоражить семипалатинское общество новой «выходкой», как выражались чиновницы и офицерши: приютила у себя девушку, dochь ссыльного поляка, которую избивал пьяница-отец. Дамы возмущались: «а святость родительских прав?» и схидничали: «самой-то нечего есть...»

В свою очередь, Александр Егорович стал усиленно вводить Достоевского в городской «свет», где перед петербургским гостем, разумеется, немедленно раскрылись все двери. Федору Михайловичу особенного удовольствия это не доставляло («знакомиться терпеть не могу»), но он понимал необходимость новых знакомств среди высшего городского круга. Ему приходилось держаться в гостиных семипалатинских офицеров и чиновников с постоянной настороженностью, с огромной выдержкой. Ни малейшей лести, ни самого крошечного заискивания не могли заметить его новые знакомцы, в этом небывалом солдате, всегда сдержанном, суховато вежливом, пристально и внимательно смотревшем на собеседника, говорившем ясно и кратко, тщательно взвешивая каждое слово. Во всем этом чувствовалась такая душевная сила, которая невольно вызывала к себе уважение. И Достоевского действительно скоро стали уважать,

Это не всегда избавляло Федора Михайловича от неприятностей, но и с ними он умелправляться. Будучи однажды в гостях, он после оживленного разговора вышел в переднюю. В это время пришел какой-то офицер, не знавший Достоевского. Увидев в передней солдата, офицер приказал ему принять свою шинель. Мгновенный скачок от положения уважаемого гостя дома до положения денщика был ощущительным. Но Федор Михайлович ничем не выдал волнения. Он принял шинель, повесил ее на вешалку и, прождав несколько минут, прошел с невозмутимым лицом в гостиную, где тут же был представлен хозяевами растерявшемуся офицеру,

Достоевский по-настоящему привязался к своему молодому другу. В письме к П. Е. Анненковой он говорил о нем: «Я с ним очень дружен. Это прекрасная молодая душа; дай бог ему всегда оставаться таким». Годом позже, уже прощаясь с Врангелем, он подробно характеризовал его в другом письме: «...Барон Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, привезавший в Сибирь прямо из лицея с великодушной мечтой узнать край, быть полезным и т. д. Он служил в Семипалатинске; мы с ним сошлись и я полюбил его очень... Два слова о его характере: чрезвычайно много доброты, никаких особенных убеждений, благородное сердце, есть ум,— но сердце слабое, нежное, хотя наружность с 1-го взгляда имеет некоторый вид недоступности». Как видно из этого определения, Федор Михайлович, искренне любя Врангеля, очень хорошо понимает и его слабости, отсутствие у молодого прокурора сколько-нибудь четких общественно-политических взглядов. Он понимает и происхождение этих слабостей: «Круг полуаристократический, аристократический, баронский, в котором он родился, мне не совсем нравится, да и ему тоже, ибо он с преходными качествами, но многое заметно из старого влияния». Но, сознавая недостатки своего друга, Достоев-

евский никогда не забывал о его «благородном сердце» и «превосходных качествах».

И в глубине привязанности Врангеля к писателю-солдату не приходится сомневаться. Писал же он отцу письма, слова которых несколько даже кощунственными, наверно, казались старому фатеру: «Судьба сблизила меня с редким человеком... Я люблю его, как брата, и уважаю, как отца». Во всяком случае, старший Врангель никак не отзывался на вопрос сына о том, нельзя ли «шепнуть слово Дубельту или князю Орлову о Достоевском, неужели же этот замечательный человек погибнет здесь в солдатах? Это было бы ужасно. Горько и больно за него...» Вряд ли старый барон особенно радовался, что сын в своей дали больше всего сблизился с каким-то сочинителем-социалистом, которому лишь по монаршей милости расстрел был заменен каторгой...

Столь тесную дружбу одного из первых областных чиновников с рядовым солдатом из политических преступников вовсе не были склонны одобрять и семипалатинские власти. Губернатор Спиридонов не раз внушал Врангелю, что такое близкое знакомство с «ужасным революционером» может тягостно сказаться на его карьере. Александр Егорович в ответ на внушения неизменно отвечал губернатору просьбой представить ему Достоевского. Спиридонов наконец сдался. Федор Михайлович сумел и ему внушить уважение к себе, и выговоры Врангелю прекратились. Губернатор, видимо, все же опасался слишком часто приглашать к себе политического преступника, но своему адъютанту Демчинскому намекнул, что тому стоит сблизиться с Достоевским. Легкомысленного Демчинского, прозванного «грозой семипалатинских мужей», кроме успеха у женщин интересовало лишь мнение начальства, по желанию же начальства он был готов сближаться с кем угодно. Человек он был, впрочем, не только легкомысленный, но и легкий, услуги Федору

Михайловичу оказывал охотно, и это знакомство не раздражало Достоевского. Дружба же его с адъютантом самого губернатора окончательно избавила писателя от придирок военного начальства.

По своим служебным обязанностям Врангель много ездил по степи. Он рассказывал Достоевскому о жизни аулов, которой тот очень интересовался (даже коран начал читать, чтобы понять мировоззрение мусульман), но пока мало знал. Александр Егорович рассказывал о казахских обычаях, с которыми успел познакомиться сам, говорил, что к русским властям казахи испытывают просто отвращение.

— Да и что же могут испытывать туземцы, — горячился Александр Егорович, — кроме ненависти и презрения к таким, с позволения сказать, представителям власти, как начальник губернского правления господин Малосапожков, помните, Федор Михайлович, вы его еще «жареным скорпионом» прозвали. Грязен, нечесан, скуп, как Гарпагон, а взяточник откровеннейший и отчаяннейший. Соберет налог, а потом говорит: «Прибавьте верному слуге вашего царя».

Достоевский однажды сказал:

— Знаете, на одной из пятниц у Петрашевского я услышал кем-то прочитанные слова северо-американского президента Джейфтерсона. Примерно они звучат так: «Я трепещу за свой народ, когда подумаю о тех несправедливостях, какие он позволял себе относительно коренных жителей». Я совсем забыл эти слова, но ваши рассказы заставили их воскреснуть в памяти. Разумеется, «жареные скорпионы» — это не русский народ, но страшно подумать, что коренные жители степи по ним могут судить о нашем народе.

Врангель с гордостью говорил о том, что он сумел завоевать в аулах уважение и получил от казахов почтительное прозвище Карасакала — чернобородого. Большая

черная борода действительно прежде всего бросалась в глаза на его молодом лице.

Достоевский мечтал о времени, когда сам сможет выезжать в степь. Предполагали, что летом этого можно будет добиться. Пока же друзья бывали в гостях у степняков, осевших в городе,— у купца Буката Аулаева, хозяина богатого, прочно построенного дома в Татарской слободе, у торгового представителя бека Ташкента Рахимбая Атанбаева (были у него даже на свадьбе его дочери). Много интересного о жизни степи рассказывал и купец Степанов, у которого Александр Егорович снимал квартиру. Мать Степанова была казашка, она жила в доме сына. К ним часто наведывались гости из дальних аулов.

...Неспешно текла жизнь в городе на Иртыше. И порой отсюда казалось, что везде медлительно ее течение. А между тем почву Российской империи уже колебали толчки могучего землетрясения. Эпицентр его находился № известной своей сейсмоопасностью крымской земле — в Севастополе.

Героизм матросов Нахимова и Корнилова всколыхнул всю Россию. Подъем патриотических чувств заставил вспомнить о двенадцатом году. Стихи, прославляющие Отечество, заполнили печатные страницы, и первым среди бардов войны с европейскими державами был старый знакомец Федора Михайловича Аполлон Майков...

Но быстро наступило отрезвление. Нет, мужество защитников Севастополя от адмирала Нахимова до матроса Кошки было действительно беспримерным. Но империя проигрывала войну. «Северный колосс» оказался колоссом на глиняных ногах. Банкротство терпела вся внутренняя и внешняя политика Николая Палкина. Война с потрясающей отчettливостью проявила страшную отсталость крепостнического строя, «Великому тор-

мозгу», коронованному жандарму Европы, не оставалось ничего, кроме смерти. Ею ставка была бита, и он умер.

Упорно и долго держались потом слухи о самоубийстве Николая. Его лейб-медик Мандт, которому приписывали, что он по просьбе царя дал ему яд, благоразумно бежал за границу.

Николай I умер 18 февраля 1855 года. Три недели весть о его смерти мчалась через равнины и горы до Иртыша. Дошла она в Семипалатинск 12 марта.

В России не сомневались, что настало время перемен. На окраине империи об этом и мысли не возникало.

Врангель и Достоевский были в соборе на панихиде по «почившем в бозе» императоре. Александр Егорович с некоторым удивлением отмечал: «Настроение, правда, было серьезное, но слезы — ни одной».



Весна теплая, дружная. Лед на Иртыше прошел рано.

Начало мая — лучшее время в здешних местах: нет еще летней иссушающей жары, не метут по улицам песчаные метели.

Тихим ранним вечером сидит Достоевский на крыльце дома, где живут Исаевы. Рядом Мария Дмитриевна. В руках у нее шитье. Возле хозяйки преданно вертит хвостом пес Сурька.

— Я говорил вам, Мария Дмитриевна, что получил письмо от молодого Якушкина?

— Нет, не говорили, Федор Михайлович.

— Да-с, от Якушкина Евгения Ивановича. Достойнейший молодой человек с благородным сердцем. Сын того Якушкина, что был на Сенатской площади четырнадцатого декабря. Судьями, говорят, признан одним из самых закоренелых... Сын был у него в Ялуторовске, передавал мне со слов отца, что когда вели приговоренных на каторгу, то начальство конвоя было очень раздражено его нераскаянным и даже веселым видом. В этом смысле и Донесения направляли. Может быть, потому и супруге его решительно отказали — единственной — на просьбу ее последовать за мужем в Сибирь... Да-с... А из Ялуторовска приехал Евгений Иванович к нам в Омск — по служебным делам он по Сибири ездил. Большую услугу он тогда мне оказал. Дал немногого денег, взял письмо к брату... Да не в том дело — душой я поднялся после встречи с ним, в том его услуга и была, а то совсем я тогда уныл. Вызывают меня в город снег чистить — посыпали с конвойным, базуемся. Пойхо жу в на-иногда,

заречный дом, выходит молодой человек, спрашивает: «Вы Федор Михайлович Достоевский?» Ну, снег я, конечно, в тот день не чистил. Проговорили мы несколько часов кряду, и пахнуло на меня волей, жизнью, и подумалось: «Может, все же выживу». Веру в будущее поддержал во мне Евгений Иванович. Друзьями расстались. А теперь письмо прислал, прекрасное письмо, и книги... Пушкина первый том нового издания...

Много говорит сегодня Федор Михайлович, но без всякого воодушевления говорит; голос его тих и глух, а глазах — смертная тоска. Погладил по голове Сурька и снова повел торопливую речь — словно только для того, чтобы хоть чем-нибудь заполнить яму удивительно сегодня тягостного молчания.

— Собаки — хорошие люди, Мария Дмитриевна. С острога я привязался к собакам. Жил там у нас Шарик, собака умная и добрая. Каждую партию, что с работ идет, у ворот встречала. Вертит хвостом, вот как Сурька ваш, и в глаза всем засматривает, приветливо так — хоть какой-нибудь ласки ожидает. Но, знаете, простой народ у нас собаку считает животным нечистым, так что ни от кого, кроме меня, ласки Шарик не дождался. Но уж меня он выделял и любил особенно. А в госпитале нашем на Скорбященской улице был пес по кличке Суанго. Он от верной смерти спас меня. Не рассказывал я вам?

— Нет, не рассказывали, Федор Михайлович.

— Лежал я в госпитале не раз, и Суанго знал меня хорошо. Ну, заболел как-то опять, положили меня, а врача нет. Один фельдшер. Очень он меня почему-то не взлюбил. Рядом со мной кровать, на которой лежит огромный такой детина, на лице написано — за печеную луковицу зарежет. Были у нас и такие, немного, но были. А я глупость допустил. Имелась у меня трехрублевая бумажка припрятанная. Как переодевался я в больничный халат, то не сумел ее незаметно переложить, увидел мой



Ч. Ч. Валиханов и Ф. К. Достоевский

сосед. Отнимет, думаю, украдет иль просто силой отнимет. Однако сосед молчит. Ночью, правда, я проснулся и услышал, что с Фельдшером он о чём-то шепчется, и сразу от тревоги сердце заныло. Но пошептались и разошлись... Утром приносят мне молоко — одному чину. Взял чашку в руки — вдруг неизвестно откуда вбегает Суанго, мордой выбивает из рук моих чашку и лакас пролившееся молоко. Фельдшер кричит, ругается, гонит собаку. И только выскочил Суанго на двор, так страхи взвыл. Те, что у окон лежали, смотрят во двор, все, говорят, окочурился пес. Не иначе, как фельдшер в споре с соседом моим из-за этих трех рублей умертвить меня хотели. Плеснул фельдшер в молоко какого-нибудь яда. а как умер бы я, выписал бы справку о естественно смерти — врача-то нет! Но Суанго разрушил преступный план!..

Недавно бы еще долго б волновалась Мария Дмитриевна, выслушав такую историю. Но сегодня она словно мимо ушей пропустила рассказ Федора Михайловича. Да и он, похоже, говорил, не задумываясь над своей мелодраматической повестью. Не до нее им сегодня обоим.

И за длинными торопливыми рассказами Достоевского и за короткими репликами Марии Дмитриевны — горе, большое горе.

Уезжают Исаевы.

Умолил Александр Иванович начальство. Дали-таки ему местечко на службе. В крошечном Кузнецке, рядом с которым и «Семипроклятник» — столица. Но беды людям не до приведеги, не до выбора. Была б надежда на кусок хлеба.

На переезд денег у Исаевых не было. Заняли у Александра Егоровича Врангеля двадцать пять рублей. Кое-как расплатились со здешними долгами. Перечинила Мария Дмитриевна в дорогу всю одежду — благо, труда не много. На днях — в путь.

Местечко-то Александру Ивановичу предоставили «по корчменой части» — трактирщиками управлять. Случайность или вспомнило в юмористическом настроении начальство о его слабости?

— Надеюсь, что хоть там-то Александр Иванович себя образит, — глухо говорит Достоевский.

— Как вы сказали? Образит?

— Словцо есть такое народное. Образить — значит восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянистующему говорят, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал я это словцо от каторжных... Только б не подобрал Александр Иванович в Кузнецке вашем себе компанию, вроде семипалатинской. Зачем ему сброд этот? Он же выше, благороднее...

Федор Михайлович поднимает глаза, и вдруг из груди прорывается отчаянье, которое прятал он весь вечер:

— Боже мой, голубчик, как я-то без вас?.. Ну, не буду, не буду, знаю — вам еще тяжелее...

...Наступил день отъезда. На прощанье Александр Иванович порядком-таки набрался. Заметив, как хочется Достоевскому и Марии Дмитриевне провести последний час перед разлукой вместе и как мешают им пьяный Исаев, Брангель начал усиленно уговаривать его шампанским. Скоро Александр Иванович не выдержал и свалился окончательно. Его уложили в экипаж Брангеля, а Достоевский сел рядом с Исаевой.

Провожали долго — до границы огромного бора, который тянется до самых Алтайских гор. У первой сосны Федор Михайлович и Мария Дмитриевна последний раз обнялись. Так и не проснувшегося или делавшего вид, что спит, Исаева переложили из одного экипажа в другой. Лошади тронулись, зазвенел колокольчик.

Достоевский стоял смертельно бледный, не отрывал взгляда от удалявшегося тарантаса.

— Идемте, Федор Михайлович, пора,—tronул его рукав Врангель.

— Подождите. Еще видно.

Скрылся тарантас в лесу.

— Идемте, Федор Михайлович.

— Подождите. Слышно пока.

Наконец растаяли и отзвуки дальнего топота. Тишина.

— Идемте, Федор Михайлович.

-- Идемте.

Шли пешком, Врангель держал повод лошади в руке. Слезы текли по худому лицу Достоевского, хотя он пом нутно вытирали их. Молчали — Александр Иванович понимал: утешать бесполезно.

У ворот хутора судьи Пошехонова, откуда выехали и где решили заночевать, Федор Михайлович остановился и сказал строго и безнадежно:

— Осиротел я. Совершенно осиротел.

...Он был выбит из колеи и долго не мог прийти в ся. Хандрил, сутками молчал. Часто ходил к домику Исаевых, задумчиво гладил визгливо жаловавшегося а одночество Сурьку. Знакомому пес радовался, но уходить со двора не хотел — ждал хозяев.

Разыскал Федор Михайлович даже какую-то гадалку, но смутные слова ее облегчения не принесли. К перу не прикасался — а весной с большим жаром начал описывать типы каторжников. Теперь работа замерла.

Врангель видел, что его старшего друга надо как-то отвлечь, что нельзя Федора Михайловича дальше оставлять наедине с тоской. Он предложил Достоевскому переехать к нему за город — Александр Егорович снял на лето дом в Казаковом саду, единственном зеленом углу в окрестностях Семипалатинска.

Батальонное начальство не возражало. От места фронтовых учений Казаков сад был недалеко. Фельдф

бель роты получил приказ надзирать за тем, как проводит свободное время рядовой Достоевский, но одновременно с приказом получил от барона некоторую мзду и потому приятелям не докучал.

Друзья начали устраиваться на своей даче. На работу по хозяйству уходили все вечера. Дом — Врангель прозвал его «палаццо» — был старый. В самой большой комнате провалился пол; в провале росли странные огромные грибы. Мебели никакой, стали сами сооружать столы и стулья из досок, пустых бочонков.

Посыпали дорожки речным песком, принялись копать землю под гряды и клумбы. Врангель прислали семена, и друзья усиленно занялись цветоводством — в Семипалатинске ни о каких цветах и не слышали, лишь подсолнухи поднимали свои желтые головы в палисадниках у казачьих изб. На грядках посадили лук, морковь, огурцы — овощей в городе тоже и в помине не было.

За работой Федор Михайлович стал постепенно оттаивать. С радостью видел Врангель, что его хмурый Друг стал улыбаться. Если улыбается, значит, оживает. Сам же Достоевский любил повторять, что без смешного нет жизни.

Ночами мешали спать полчища крыс, мышей и ужей, Поднимавших возню в темноте. Они считали себя хозяевами дома и без боя покидать его не собирались.

Впрочем, от ужей были не только неприятности. Кое в чем они выручали новоселов Казакова сада.

В «палаццо» зачастили семипалатинские дамы — ведь Других загородных «вилл» в наличии не имелось. Врангель был человек светский и кое-как дамские визиты выдерживал, хотя пустота и жеманство захолустных львиц отчаянно надоели ему и за зиму. Достоевский же светсконостью не отличался и буквально чернел от злости, когда появлялись эти сплетницы. Он хорошо помнил, сколько вытерпела Исаева от их ехидной трескотни.

Но визиты внезапно и навсегда прервались после того, как одна из самых болтливых офицерш на полуслове хлопнулась в обморок, увидев, как из пролома в полу выползает громадная змея.

Обитатели Казакова сада вовсе не были нелюдимами. Две дочери хозяйки дома, где Достоевский снимал комнату, приходили к ним чуть не каждый вечер, возились в огороде, пели, шутили с владельцами «палаццо».

Лето стояло на редкость жаркое, еще в конце мая стали купаться, соорудив у самой воды маленький шалаш, где раздевались. Песок накалялся до того, что в нем пекли яйца. Поручик Обух, страстный охотник, добиравшийся во время своих экскурсий до камышовых джунглей на берегах Балхаша, привез однажды в Казаков сад маленьких тигрят, а в другой разолосатых пороссят дикой свиньи. За огородами был проточный пруд, там Достоевский на все лето поселил большого осетра, перегородив деревянной решеткой сток, чтобы «гость» не ушел в Иртыш.

Идиллия в Казаковом саду, естественно, могла занимать лишь вечерние часы и воскресенья, по будним дням Врангель сидел у себя в присутствии, а Достоевский до седьмого пота жарился на плацу. Особенно изводил его парадный тихий шаг в три приема — фрунтовая акробатика, изобретенная прусским Фридрихом. Русские цари которые, начиная с Павла, все были прирожденными «балетмейстерами военного парада», не могли, конечно, пройти мимо такого замечательного изобретения. Оно измучило не одно поколение русских солдат, но в Крыму, увы, пользы не принесло.

Летом пятьдесят пятого в Семипалатинске на муштру нажимали особенно, потому что ожидали приезда всемогущего Гасфорта, генерал-губернатора Степного края, хозяина и самодержца огромных пространств от тундры до китайской границы,

Достоевский, связывавший с Гасфортом некоторые надежды, расспрашивал Врангеля о всесильном губернаторе. Но Врангель, обиженный холодным приемом, который он встретил у Гасфорта в Омске — от немца, хотя бы и сановного, он ожидал большей теплоты, — отдельовался сарказмами насчет глупости и пустоты звездоносного старика. Еще ироничнее он рисовал помощника Гасфорта, военного губернатора области степных киргизов Фридриха.

— Генерал-майор Фридрих — добрый, отличный человек, — здесь Александр Егорович делал несколько театральную паузу, — но глуп, как пробка. Представляете, доклады выслушивает, играя на флейте. Принесенные ему для подписи бумаги взвешивает на бразене и потом ~~зваст?~~ет, сколько пудов подписал за неделю.

Федор Михайлович от бароновых сарказмов только морщился. Омский коллега семипалатинского губернатора Спиридопова его совершенно не интересовал, пусть он хоть на трубе во время докладов играет. Достоевскому важно было понять Гасфорта. В его одноцветную характеристику, сообщенную милейшим Александром Егоровичем, верилось плохо.

И в действительности Густав Христианович Гасфорт был фигурой куда более сложной, чем это казалось обиженному Врангелю. Он был своего рода произведением николаевской империи, произведением до того совершенным, что сам «автор», Николай Павлович, иногда сомнением взглядался в свое создание.

И образован был Густав Христианович — имел докторские ~~дипломы~~ пяти германских университетов. И храбр ~~в военный~~ ветеринарный врач в трудную минуту на бране показал такое мужество и понимание ратного дела, что, вопреки правилам тут же был переведен в строевые офицеры. И честен — попавшихся взяточников карал беспощадно. Но все эти добрые качества начисто

перечеркивались абсолютным непониманием жизни, разрушимой верой в то, что если ей, жизни, твердо приказывать, то она вынуждена будет подчиниться этому приказу. Гасфорт жил в самим им вымыщенном мире видимостей. Недаром непочтительные подчиненные между собой именовали его «опрокинутым книжным шкафом». Просматривая, например, топографические карты, генерал-губернатор вдруг решал, что они составлены неточно, что на них нет гор, которым по каким-то тайным соображениям Гасфорта полагалось быть в данном месте. Топографы пожимали плечами, однако в карты, предназначенные для губернатора, требуемые горы наносили — спорить со старым самодуром не приходилось. Но в действительности равнина, естественно, оставалась равниной. И взяточники при грозе казнокрадов жили вполне вольготно — следовало только не попадаться под лёденивший, но чересчур уж прямолинейный взгляд Густава Христиановича.

Понятно, что вера во всемогущество своего приказа привела Гасфорта к весьма преувеличеному представлению о значении собственной личности. Говоря о своих полководческих подвигах (совершенных, в основном, в время подавления венгерской революции), генерал-губернатор Степного края уже свободно оперировал выражениями «Ганнибал и я» «я и Александр Македонский». Собирался он также установить себе памятники в Омске и Обдорске.

Венцом волюнтаристической, как бы сейчас сказали, деятельности Гасфорта было сочинение им новой религии для степняков. Мусульманство его не устраивало, православие же плохо вязалось с некоторыми обычаями степи, в частности, с многоженством. И Густав Христианович с немецким педантизмом составил проект новой религии (как человек начитанный, он строил ее не на голом месте — в сущности он приспособил к «местным условиям»

иудаизм). Но здесь даже «волонтист века» Николай Павлович был шокирован и не признал своего генерала новым Магометом или Лютером, написав на проекте, что религии не сочиняются подобно законам.

С Гасфортом Достоевский связывал надежду хоть каким-нибудь образом прорваться в печать. Еще год назад вскоре по приезде в Семипалатинск, Федор Михайлович сочинил стихотворение «На европейские события 1854 года» и направил его по инстанциям, надеясь, что оно, может быть, появится в каком-нибудь официальном журнале и послужит предлогом для разрешения печататься вообще. Стихотворение было в барабанно-патриотическом духе, вроде тех, которые сочинял тогда петербургский приятель Федора Михайловича Аполлон Майков, только гораздо хуже по форме — версификатором Достоевский был слабым. Но николаевская империя не нуждалась в том, чтобы ее внешнюю политику одобрял какой-то бывший каторжник, и стихотворение в инстанциях и завязло.

Ныне Достоевский повторил попытку, написав стихи на смерть Николая. В них он обращался к вдове императора:

Как гаснет в небесах зарница,
Угас супруг великий твой.

И эти стихи пошли обычным официальным путем. Федор Михайлович еще не знал, что они добрались уже до генерал-губернатора. Гасфорту объяснили, кто такой Достоевский и чего он хочет. Сначала он заулся и сказал, что за врагов правительства, хотя бы и бывших, хлопотать никогда не будет. Потом, однако, добавил, что ежели в Петербурге сами вспомнят о рядовом 7 линейного батальона и решат облегчить его учесть, то с его стороны препятствий не встретится. Затем наконец все-таки переслал стихи в столицу с сопроводительной бумагой за своей подписью. В окружении омского наместника

были люди искренне сочувствовавшие писателю-солдату. Обводить же старого упрямца вокруг пальца «придворные» Гасфорта научились давно.

Стихи, сочиненные в Семипалатинске, дошли до вдовы-императрицы. Ей передал их принц П. Г. Ольденбургский, покровитель искусств, большой любитель музыки и бездарный композитор. Вдове стихи, может быть, и понравились, но в печати они все же не появились. Возможно, потому, что сравнивать главного виновника крымской катастрофы с угасшей зарницей было уже не ко времени.

История с сочинением этих псевдопатриотических стихотворений — пожалуй, единственный семипалатинский эпизод биографии Достоевского, который не может вызвать нашего сочувствия. Положим, Достоевский писал эти стихи искренне, в соответствии со своими новыми политическими взглядами... А все-таки странно было бы увидеть автора «Бедных людей» где-нибудь в «Северной пчеле». Даже Михаил Михайлович Достоевский, оппортунист по всему своему складу, и тот осторожно пожурил брата за эти официозные вирши. Сам Федор Михайлович, видимо, быстро понял ошибку и постарался никогда не вспоминать об этом эпизоде.

Вернемся в Казаков сад, к долгим вечерним беседам Достоевского и Врангеля на речном берегу, на веранде «палаццо». Чем ближе узнавал Александр Егорович своего старшего друга, тем более поражался его глубокой начитанности и разносторонней образованности, которую Федор Михайлович никогда не стремился подчеркнуть и даже, наоборот, как бы прятал от малознакомых. Все русские беллетристы и поэты, от Ломоносова до Пушкина, перед которым Достоевский благоговел, были перечитаны им многократно. Федор Михайлович мог подолгу читать наизусть не только стихи Жуковского, Пушкина, Лермонтова, но и целые главы «Истории государства Российского» Карамзина. Отлично знал он и современ-

шую западно-европейскую литературу — Гете, Шиллер, Стерна, Виктора Юго, Бальзака, Беранже, Жорж Занд. Знакомы были ему и новейшие французские историки — Тьер, Минье, Луи Блан. Прекрасно помнил он труды Сен-Симона и Фурье. И на все прочитанное Достоевский имел свой определенный и оригинальный взгляд.

Врангеля мысли Достоевского иногда смущали. Когда Александр Егорович начинал восхищаться современной европейской наукой, которая в лице Гумбольдта, Кювье, Лайеля, Лапласса, Фарадея и других титанов столь полно осветила картину мироздания, что на долю последующих поколений остается лишь уточнение деталей, Достоевский в ответ замечал, что наука человеческая находится еще в младенчестве. Когда Врангель с воодушевлением повествовал о развитии железных дорог и пароходства, Достоевский прерывал его словами о том, что люди, вполне возможно, научатся летать по воздуху и будут пролетать чрезвычайные пространства в десять раз скорее, чем ездят поезда. Однажды Федор Михайлович сказал, что со временем химия научится создавать живые организмы. Врангелю, поклоннику трезвой науки XIX века, это утверждение показалось отголоском учений средневековых магов и алхимиков.

Серьезно Достоевский интересовался и живописью. Инженер по образованию, он любил рисовать по памяти детали памятников мировой архитектуры. Хорошо понимал музыку, восхищался Глинкой, не раз вспоминал, как слушал однажды исполнение великим композитором своих романсов. Иногда сам напевал на берегу вполголоса алябьевский «Иртыш» — казалось, что о его судьбе рассказывают мелодия и слова:

Певец младой, судьбой томимый,
При брге быстрых вод сидел
И, грустью скорбною томимый,
Разлуку с родиною пел.

Шуми, Иртыш, струйтесь, воды,
Несите грусть мою с собой.
А я, лишенный здесь свободы,
Дышу для родины драгой...

Достоевский внимательно читал петербургские журналы. Его очень интересовал автор опубликованных в «Современнике» «Детства и Отрочества», но в Семипалатинске некому, разумеется, было сказать Федору Михайловичу, кто скрывается под инициалами «Л. Н. Т.». Повести Достоевскому очень нравились, но он сомневался, много ли сможет написать молодой писатель. Может быть, ему казалось, что круг наблюдений неизвестного автора ограничен; севастопольские рассказы Толстого до Иртыша еще не дошли. Он признавал огромный талант своего старого знакомца Тургенева, но находил в нем невыдержанность. Нравился ему и Писемский, выступивший на литературном поприще уже в осторожные годы Достоевского и привлекший читателей сочной густотой изображения провинциального быта, однако Федор Михайлович с огорчением отмечал многописание и торопливость быстро выдвинувшегося беллетриста*. Зато эстетская болтовня столичного сноба англомана Дружинина его просто раздражала.

Дни становились все длиннее, солнце пекло все жарче, ветер носил песок по плацу, где маршировали солдаты. Из Кузнецка приходили письма — неспокойные, раздраженные. По ним видно было, что Александр Иванович так и не «образил» себя.

Достоевский молил о свидании. Договорились встре-

* Впрочем, уже к концу семипалатинского периода, познакомившись с новыми произведениями Писемского, Достоевский стал смотреть на него как на эпигона, лишенного настоящей творческой самостоятельности, и противопоставляя его подлинным художникам-новаторам, таким, как Гоголь. Интересно, что это, в общем, совпадает с точкой зрения Добролюбова.

тился в Змеиногорске, алтайском городе с большим горным заводом — на дороге от Семипалатинска к Кузнецку. Получить хоть кратковременный отпуск перед самым смотром надежд не было никаких. Врангель распустил слух, что Федор Михайлович внезапно заболел — опасно и, кажется, заразно. Доктор Ламотт, поляк, брезгливо ненавидевший семипалатинское военное начальство, дал справку о болезни. На рассвете, закрыв на ставни окна в «палаццо», тайком выехали из города. Мчались как угорелые. А домчавшись, узнали: приехали напрасно. Мария Дмитриевна лишь прислала записку — болен муж. Не огляdevшись, полетели назад. Когда Достоевский вышел на службу, никто не усомнился, что он перенес тяжелую болезнь. Беликов сказал сочувственно: «Да, вид у тебя, батенька,— краше в гроб кладут».

Приехал, наконец, и Гасфорт. Достоевский видел генерал-губернатора только из строя. Врангель же с возмущением рассказывал о сцене, свидетелем которой стал: генерал распекал попа, не встретившего конный поезд Гасфорта колокольным звоном. Перепуганный батюшка лепетал, что сие полагается лишь при прибытии царствующих особ. Густав Христианович рычал: «Здесь царь — я».

Принимая областных чиновников, Гасфорт внимательно смотрел, соответствуют ли их вицмундиры сочиненному им (подобно новой религии) покрою. Тем, у кого не соответствовали, приходилось худо. У Врангеля покрой соответствовал,— Александр Егорович заказал мундир столичному портному,— но фалды были длиннее запроектированных. Густав Христианович приказал укоротить на два вершка.

После того как великая суeta по случаю пребывания Гасфорта завершилась, свободного времени у Достоевского стало больше и появилась возможность осуществить давнее желание — выбраться в степь. Правда, мешал-

ло еще то, что по бездорожью требовалось ехать верхом, а Достоевский никогда не садился на коня. Но Врангель уговорил его попробовать проехаться на самой смирной своей лошади. Федор Михайлович потренировался в одиночестве и скоро вошел во вкус. Вообще всяким умением он овладевал быстро, если только были условия первые, неумелые, шаги в новом деле совершать не публично.

С тех пор длинные верховые прогулки приятели предпринимали часто — то вдвоем, то в большой компании. Они проезжали по начавшей уже желтеть степи, по прибрежным лугам, где трава закрывала лошадям ноги, по светлому сосновому бору. Александр Егорович восхищался своеобразием прииртышской природы и удивлялся равнодушию Достоевского к ее красотам.

Однажды Федора Михайловича вытащили даже на псовую охоту, устроенную полковником Мессарошем Сакать, однако, за борзыми он наотрез отказался.

— Какой интерес,— брезгливо говорил он Врангелю на обратном пути, покачиваясь в седле,— смотреть, как гибнет красивый, благородный зверь.

Зато жизнь людей в степи Достоевского интересовала очень. С Врангелем они часто бывали на летовках завоевали разговор с кочевниками. Скоро среди казахов у завелись и друзья. Они несколько раз гостили в юртах боярских кочевников Мендыбая и Тасцбая. Гостей уговаривали свежим кумысом, твердым и аппетитным бараньим пловом. Казахи жирным казы, пересовали новостями из города. Гостей же удивляло то, как хорошо знали их хозяева о событиях на самых дальних кочевьях. К удивлению русских, в разговоре принимали свободное участие и молодые жены хозяев.

Как-то, возвращаясь в город, Врангель, воздавая должное уму, характеру и гостеприимству степняков, высказал сожаление, что этот народ, видимо, самой природой обречен оставаться на невысокой степени разви-

тия. Достоевский резко возразил, что он никак не может понять той мысли, по которой лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить материалом и средством к тому, а сами оставаться во мраке.

— Я не хочу жить и мыслить,— говорил Федор Михайлович,— иначе, как с верой, что когда-нибудь все люди, сколько их ни народится, будут образованы и счастливы. Что же касается до народа, с которым мы теперь знакомимся, то одного такого человека, как омский офицер Валиханов достаточно, чтобы доказать, что народ этот очень даже способен к самой высокой степени развития.

Сам герой этого разговора вскоре появился в Казаковом саду. Однажды вечером Врангель увидел в калитке сада невысокого, очень красивого степняка в офицерской форме. В это время на крыльце вышел Достоевский. Увидев офицера, он стремительно бросился к нему, и они обнялись.

Чокай провел в «палаццо» несколько вечеров. Врангеля поразила и его образованность, и спокойное изящество его манер, и, главное, сильный и своеобразный ум. Александр Егорович почувствовал, что ему трудно быть равноправным участником беседы таких людей, как Достоевский и Валиханов, и мало вмешивался в их разговоры, продолжавшиеся все эти вечера.

В своих воспоминаниях Врангель указывает, что Валиханов гостила в Казаковом саду перед опасной поездкой. «Ехал он с секретным поручением правительства в Ташкент и Коканд, сопровождая торговый караван». Документальных подтверждений того, что такая поездка состоялась, нет, но в описании Кашгарского путешествия Валиханов говорит, что ему приходилось опасаться людей, которые могли ранее видеть его в Коканде.

Тем летом писатель познакомился с полковником Хо-

м Говским приставом Большой орды, храбрым солдатом и удивительно простым, простецким даже человеком. И он побывал в Казаковом саду и быстро сошелся с солдатом Достоевским. Хоментовский приехал с берегов Иссык-Куля, где находилась его ставка (через год ее перенесли в укрепление Верное), в Семипалатинск отдохнуть. И отдыхал он вовсю, сообразно своим наклонностям. Обыватели, знавшие образ жизни полковника, не удивлялись, когда их на рассвете будил гвалт, поднятый на улицах города шумной компанией с бутылками в руках, предводительствующей приставом Большой орды в расстегнутом мундире. С Хоментовским и Федор Михайлович однажды несколько «набрался» — чуть ли не единственный раз в своей жизни. Вообще же Достоевский вина почти не пил, зато любил лакомиться сладостями — кишмишем, кедровыми орешками в меду.

...Как и по всей империи, отпраздновали «день ангела» нового императора Александра II — его «тезоименитство». Достоевский и Врангель смотрели за городской чертой национальные праздники степняков — лихую байгу, яростный кокпар. В этих состязаниях, где испытывались мужество, сила, ловкость, была подлинная красота. Ц как отличались они от другой «забавы» — кулачного боя, в котором стенка на стенку сошлись казачья и татарская слободки. Казаков умело настраивали против «некристей», и «забава», как всегда, быстро превратилась в слепой мордобой, где правили торжество темные чувства, злоба к людям чужого языка, иного образа жизни. Такие «игры» были школой для воспитания будущих «усмирителей» Польши, участников колонизаторских походов царизма.

Во второй половине лета Федор Михайлович предпринял еще одну попытку свидеться с Исаевой. На этот раз он получил официальное разрешение на поездку в Змеиногорск. Слуга Врангеля финн Адам, неплохой портной,

шил Достоевскому для поездки «партикулярное» пла-
тье — первую «штатскую» одежду, которую писатель ...
дел после шести лет арестантской двухцветной куртки
солдатского мундира. Врангель, конечно, и на сей |
сопровождал друга.

В этот приезд приятели прожили в «Змиеве» целых
пять дней и успели осмотреться в нем. Город у самого
древнего в Сибири рудника, открытого еще Никитой Де-
мидовым, был чуть не вдвое больше Семипалатинска и
со своими многочисленными каменными зданиями выгля-
дел куда благоустроеннее центра области. Да и змеиногор-
ское «общество», ядро которого составляли горные
инженеры, было значительно культурнее семипалатин-
ского. Друзей принимали исключительно радушно.
Квартиру отвели им у богатого купца, но там они только
ночевали, а днем и вечером их возили то на обед, то на
пикник в бор, то на танцы. У управляющего заводом
полковника Полетики слушали хороший хор, составлен-
ный из служащих завода. Достоевский, щеголявший в
сюртуке, спитом Адамом, в серых брюках, заимствован-
ных у Врангеля, черном атласном галстуке и высоком
крахмальном воротничке, углы которого доходили до
ушей, несколько оттаял, охотно разговаривал с новыми
знакомыми и даже танцевал с змеиногорскими дамами.
Но когда, поздно вечером, приятели возвращались в дом
купца, Федором Михайловичем овладевало отчаяние, и
он, как всегда в минуты сильного волнения, свирепо те-
ребил волосы на висках.

Исаева все не ехала. Достоевский ждал ее до послед-
него дня. Даже отказался ехать на экскурсию, устроен-
ную любезными хозяевами, на недальнее Колыванское
озеро, которое, по словам Александра Егоровича, сам вс-
ликий Гумбольдт нашел красивейшим в мире.

На этот раз Мария Дмитриевна не прислала даже
записки. Достоевский вернулся в Семипалатинск крайне

подавленным. Он изливал свою душу в письмах, адресованных в Кузнецк. Он писал Исаевой, что чувствует себя таким же одиноким, как в первые дни ареста, яростно честил «поганое» семипалатинское общество, не оценившее ее благородства и честности, перекладывал на него вину за отъезд Марии Дмитриевны.

Недолгая «идиллия» в Казаковом саду кончилась: вскоре после возвращения из Змиева Врангель отправился в двухмесячную служебную командировку по области — в Усть-Каменогорск, Бухтарму, Локтев. Он слал приятелю бодрые и самодовольные письма, хвастаясь числом верст, которые успел проехать.

Но Достоевскому было не до дорожных впечатлений прокурора — из Кузнецка он получил трагическую весть: после короткой болезни Исаев скончался. Последние дни «бедного Иова», как он сам себя называл, были ужасны: даже нестерпимую физическую боль заглушали страшные мысли о судьбе семьи. Без конца повторял он Марии Дмитриевне: «Что будет с тобою, что будет с тобою!.. Эта навязчивая мысль жгла его до самой агонии. И действительно, положение вдовы оказалось совершенно безвыходным: у нее не было буквально ничего, кроме старого платья на себе и ребенка и долгов в лавке. Хоронить мужа было не на что. Кто-то из сердобольных кузнецких чиновников прислал ей три рубля, и Исаева эти три рубля взяла, потому что негде было достать куска хлеба для сына. «Нужда руку толкала принять,— писала она Федору Михайловичу.— и приняла... подаяние!» Как мучился, переживал унижение любимой женщины Достоевский! Никогда не мог он забыть об этих трех рублях и десять лет спустя, создавая «Преступление и наказание», ввел их в рассказ о последнем дне «заезженной» свирепой жизнью Катерины Ивановны.

У самого Федора Михайловича в это время не было ни полушки, он не мог даже переслать в Петербург пись-

ма Врангеля — нечем было оплатить почтовый сбор. Пришлось, чтобы оказать хоть самую скромную помощь, обращаться к Александру Егоровичу. Достоевский просит Врангеля послать в Кузнецк пятьдесят рублей и считать их вместе с прежними двадцатью пятью, занятыми яя дорогу Исаевых в Кузнецк, его, Достоевского, долгом («Я вам отдаю непременно, но не скоро»). Он умоляет своего друга проявить при посылке денег предельную деликатность, чтобы не задеть невзначай еще раз бедную женщину: «Я очень хорошо знаю, что вы понимаете, как должно обходиться с человеком, которого пришлось одолжить. Я знаю, что вы с ним удвоите, утройте учтивость; с человеком одолженным надо поступать осторожно; он мнителен; ему так и кажется, что небрежностью с ним, фамильярностью хотят его заставить заплатить за одолжение ему сделанное». Кому, как не художнику «бедных людей», самому бедняку всю жизнь, было не знать эту особенную щепетильность «благородной» нищеты!

И все же в эти, до краев наполненные тревогой, болью, состраданием августовские дни пятьдесят пятого года у Достоевского не могла не мелькать мысль о том, что возможность счастливого исхода его мучительной лю'бви стала теперь более реальной.

Жизнь эту мысль в конце концов подтвердила, но до того еще много воды утекло.



В самом начале 1856 года произошло два события: Достоевский был произведен в унтер-офицеры; Врангель навсегда уехал из Семипалатинска. Первое из них, разумеется, обрадовало Федора Михайловича, однако переоценивать его было нельзя: унтер-офицерство имело значение лишь как неизбежный шаг на пути к офицерскому чину, правового же положения Достоевского оно никак не меняло. Разлука же с другом, естественно, огорчила Федора Михайловича, но горечь смягчалась надеждой, что в Петербурге бывшему семипалатинскому прокурору, возможно, удастся через влиятельных знакомых как-то смягчить участь своего старшего товарища. Кроме того чувство Достоевского к Исаевой в это время настолько поглотило его, настолько измучило, что тут уже мало могло помочь чье бы то ни было дружеское утешение.

Вести из Кузнецка шли самые тревожные. Мария Дмитриевна устала от бесконечной борьбы с нищетой, теряла надежду, что ей удастся когда-нибудь соединить судьбу с Достоевским. Единственным выходом ей представлялось новое замужество в Кузнецке. Она осторожно спрашивает совета у Достоевского, как ей поступить в случае, если будет к ней свататься пожилой обеспеченный человек.

Говоря о своем предполагаемом женихе, Исаева была намеренно неточна, но Федор Михайлович ей поверил: пришел в отчаянье, представив в качестве будущего мужа своей любимой этакого таежного медведя-богача, «который, может быть, про себя и побои считает законным делом в браке». «Она в положении моей героини в

«Бедных людях», которая выходит за Быкова (напрочил же я себе!»).

Но создатель Девушкина совсем не походил на своего героя, и его «страшное, грозное чувство» ничем не напоминает безнадежного обожания Макара Алексеевича. Достоевский не собирается сдаваться: «Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается 2 года, слышите, 2 года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости». И он уверен: «Само собой разумеется, что, если б уладились дела мои, то я был бы предпочтен всем и каждому».

Через несколько месяцев Федор Михайлович убедился, что аналогии с ситуацией из «Бедных людей» в Кузнецке вообще нет: добрый, но предельно бесцветный уездный учитель Вергунов совершенно не походил на грубого и сильного «господина Быкова». Он был значительно моложе и духовно слабее Марии Дмитриевны. Не имелось у него и быковского богатства: брак с ним был бы для Исаевой лишь переходом от отчаянной нищеты к бедности, еле сводящей концы с концами.

Драма была в том, что Достоевский не мог предложить ей и этого.

И Федор Михайлович с невероятной энергией предпринимает новые решительные попытки «уладить» свои запутанные дела.

Некоторые надежды он возлагал на предстоящую амнистию, которой по традиции отмечалась коронация нового императора. Однако Достоевский на сей счет не особенно обольщался и оказался прав: Александр II решил вернуть из Сибири состарившихся на каторге и в ссылке декабристов, но «политических преступников» следующих поколений амнистия почти не коснулась. Предчувствуя это, Федор Михайлович решается на «обходной маневр».

С первым же письмом Врангелю в Петербург (тем самым, где он вспоминает финал «Бедных людей») Достоевский отправляет и другое, адресованное герою Севастопольской обороны Эдуарду Ивановичу Тотлебену,— в те месяцы, пожалуй, самому популярному человеку в России.

То, что унтер-офицер непосредственно обращался к генерал-адъютанту, было серьезным дисциплинарным проступком, который в случае неблагоприятного исхода мог очень дорого обойтись Достоевскому.

Правда, Федор Михайлович был знаком с Тотлебеном, тоже учившимся в Главном инженерном училище, но знакомство это было давнее и неблизкое (Тотлебен кончил училище намного раньше), и Достоевский никак не мог знать, «в каких мыслях» сейчас находится прославленный генерал, приближенный к себе новым царем (на эту близость Федор Михайлович и возлагал надежды). Словом, он шел на немалый риск и понимал это: «Он теперь стоит так высоко, а я кто такой? Захочет ли вспомнить меня?»

Достоевский тщательно наставляет Врангеля, которому предстояло передать письмо: «Отправляйтесь к нему лично (надеюсь, что он в Петербурге) и отдайте ему письмо мое наедине. Вы по лицу его тотчас увидите, как он это принимает. Если дурно, то и делать нечего; в коротких словах объяснив ему положение и замолвив словечко, откланяйтесь и уйдите, попрося наперед у него на счет всего этого дела секрета. Он человек очень вежливый (несколько рыцарский характер), примет и отпустит вас очень вежливо, если даже и ничего не скажет удовлетворительного. Если же вы по лицу его увидите, что он займется мною и выскажет много участия и добродетели, о! тогда будьте с ним совершенно откровенны; прямо, от сердца войдите в дело; расскажите ему обо мне и скажите ему, что его слово теперь много значит...»

К счастью, Эдуард Тотлебен был не только храбрым солдатом и талантливейшим инженером, но и действительно благородным человеком, и Врангель вскоре смог сообщить Достоевскому, что оправдалось второе его предположение и что его дело «на хорошей дороге».

Дорога однако же оказалась неблизкой, хотя слово Тотлебена в те дни на самом деле много значило.

Основной задачей, которую ставил перед собой Федор Михайлович, отправляя письмо в Петербург, было добиться разрешения выступать в печати. Он писал Тотлебену: «Когда-то я был обнадежен благосклонным приемом публики на литературном пути. Я желал бы иметь ~~позволение~~ ~~благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным...~~»

После ходатайства за ссыльного писателя на личной аудиенции императора Тотлебен собственноручно записал царскую резолюцию: «Его величество приказать изволил написать представление в форме записки к В. военному министру, ходатайство о производстве Федора Достоевского в прапорщики в один из полков 2-й армии. Если же это признано будет неудобным, то с чином 14-го класса уволить его для определения к стат-химцелям, в обоих случаях дозволить ему литературные занятия с правом печатания на узаконенных основаниях».

Это было именно то, чего добивался Достоевский. Но Александр Николаевич с иезуитством, достойным его отца, тут же ликвидировал свое разрешение, приказав установить за писателем тайный надзор до полного убеждения в его «благонадежности» и лишь тогда ходатайствовать о разрешении ему печатать свои труды. Это означало, что вопрос о печатании сочинений писателя откладывается на неопределенное время,

Вопрос же о производстве Достоевского в офицера попал в громоздкий механизм бюрократической машины самодержавия и месяцы переползали с одного департаментского конвейера на другой.

Федор Михайлович Достоевский был живым человеком — умным, страстным, сильным, но отнюдь не маньяком. Беспокойство за судьбу своих хлопот о будущем, «грозное чувство» к Исаевой, где надежда чередовалась с отчаянием, бесконечно волновали его, несли бессонные ночи. Но не нужно даже в эти исключительно тревожные месяцы представлять его угрюмо сосредоточенным на одном. И тогда у него бывали радостные или во всяком случае спокойные часы. По праздникам он бывал в гостиах, даже танцевал (о чем семипалатинские дамы-сплетницы поспешили донести Исаевой; Исаева оскорбилась). Он поселился на одной квартире с образованным офицером А. И. Бахиревым, читал журналы, которые получал Бахирев. Писал, насколько позволяло время, набрасывая и «Записки из Мертвого дома», и теоретическую статью об искусстве, и роман.

Но, естественно, главными для Достоевского в те месяцы оказывались мысли о Марии Дмитриевне, опасения, что «гадость Кузнецкая ее замучает». Увидеть Исаеву, понять, как и чем она сейчас живет, стало необходимостью. И Федор Михайлович вновь идет на весьма рискованный шаг. Направленный по служебной командировке в Барнаул, Достоевский самовольно приезжает в Кузнецк и после тринадцати месяцев разлуки встречается с любимой женщиной. Радости, однако, эта встреча не принесла. Вернувшись в Семипалатинск, Федор Михайлович так рассказывал о ней Врангелю:

«Я был там, добный друг мой, я видел ее! Как это случилось, до сих пор понять не могу! У меня был вид на Барнаул, а в Кузнецк я рискнул, но был!.. Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого. Я там провел

два дня. В эти два дня она вспомнила прошлое, и ее сердце опять обратилось ко мне...

Она мне сказала: «Не плачь, не грусти, не все еще решено; ты и я, и более никто!» ...К концу второго дня я уехал с полной надеждой. Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие все же виноваты. Так и случилось! Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня!»

Трудно, конечно, теперь, через век, точно сказать, была ли эта, вторая, любовь. Автор книжки «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской» приписывает вдове маленького чиновника чуть не демоническую страсть к «красавцу учителю». Л. Ф. Достоевская объясняет эту страсть «африканским происхождением» Исаевой, которую далее, увлекаясь, уже попросту называет «негритянкой». Но думается, что эти африканские страсти в алтайском уездном городишке не более, чем миф. Учитель Вергунов был, по словам Врангеля, «личностью вполне бесцветной», и, если говорить только о чувствах, соперником Федору Михайловичу не являлся. Суть-то выражена в словах Достоевского «отсутствующие виноваты». Одинокой женщине просто не на кого было опереться в своей кузнецкой нищете.

Но вполне вероятно, что Мария Дмитриевна, воспитанная на романтических повестях Марлинского, невольно несколько «марлинизовала» положение и даже себе, не только Федору Михайловичу, внущила мысль о женском сердце, разрываемом чувством пополам — трудно ведь даже себе признаться, что выбор всего будущего решается вопросом об обеспеченном куске хлеба. Во всяком случае, возможность брака с Вергуновым для Марии Дмитриевны не исключалась, и это-то и страшило Достоевского — не только за себя, но и в еще большей степени за любимую женщину: «Ей 29 лет; она образованная, умница, видевшая свет, знающая людей, стра-

давшая, мучившаяся, больная от последних лет ее жизни в Сибири, ищущая счастья, и она — готова выйти замуж **теперь** за юношу 24 лет, сибиряка, ничего не видевшего, чуть-чуть образованного... Как сойтись в жизни с разными взглядами на жизнь, с разными потребностями?... Будь он хоть раз идеальный юноша, но он все-таки еще не крепкий человек. А он не только не идеальный, но... Все может быть впоследствии. Что если он оскорбит ее подлым упреком, что она рассчитывала на его молодость, что она хотела сладострастно заесть его век, и ей, ей, чистому, прекрасному ангелу, это, может быть, придется выслушать! ...Что-нибудь подобное да случится непременно. ...Я написал письмо длинное ему и ей вместе. Я представил все, что может произойти от неравного брака. ...Она отвечала, горячо его запицкая, как будто я на него нападал. А он истинно по-кузнецки и глупо принял себе за личность и за оскорбление — дружескую, братскую просьбу мою (ибо он сам просил у меня и дружбы и братства) подумать о том, чего он добивается, не скубит ли он женщину для своего счастья; ибо ему 24 года, а ей 29, у него нет денег, определенного в будущности **вечный Кузнецк**.

Вергунов написал Федору Михайловичу «ответ рутателльный». Несмотря на это Достоевский просит Врангеля («ради бога, ради света небесного») похлопотать об уездном учителе у Гасфорта (Александр Егорович собирался в Омск). «Хвалите его на чем свет стоит»— для того, чтобы выплатить ему более обеспеченное место.

Эту просьбу нужно понимать правильно, иначе мы не поймем Достоевского, выдумаем ему фантастический характер.

Достоевский тут вовсе не отрекается от своего чувства, не собирается отступать от борьбы за него, не жертвует собой ради соперника (которого он, вдобавок, не

считает достойным любимой женщины). Но если все же выбор будет сделан не в его пользу, Федор Михайлович находит необходимым добиться для Марии Дмитриевны хотя бы материального благополучия: «Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь. Хоть бы в бедности она не была, вот что!»

Здесь нет юродства, нет всепрощения. С соперником Федор Михайлович целоваться не собирается, напротив, говорит о нем с еле сдерживаемой злостью. Но он не переносит обиды на женщину, которую любит.

Кроме перевода Вергунова Федор Михайлович хлопочет о выплате Марии Дмитриевне причитавшегося ей после смерти мужа, но почему-то задержанного единовременного пособия в 285 рублей серебром: «Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для нее бедность, опять страдание». Достоевский боится, «чтоб она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж», так как после нового замужества Исаева лишилась бы права на пособие.

Но после свидания в Кузнецке Мария Дмитриевна решила не спешить с выбором будущего. К этому времени ее положение несколько улучшилось: в семье окружного исправника Ивана Мироновича Катанаева она нашла людей, искренне к ней расположенных и готовых поддержать. Теперь она уже не так остро чувствовала свое одиночество в алтайском городке.

А в Семипалатинск 5 августа прибыл магистр богословия Петр Семенов, молодой петербургский ученый, отправлявшийся в большое путешествие к неизвестанным «Небесным горам» и берегам Иссык-Куля. В городе на Иртыше ему предстояло пробыть только сутки. Он представился губернатору, потом адъютант губернатора Василий Демчинский отвел его на свою квартиру. Пройдя в

комнату хозяина, магистр ботаники увидел ожидавшего его худого человека в мундире унтер-офицера. Лицо его показалось Семенову странно знакомым. Секунду он простоял, не веря своим глазам, потом бросился к унтер-офицеру и обнял его.

Достоевский и Семенов были знакомы с молодых лет. Позже они встречались и у Петрашевского, хотя молодой ученый и не был активным участником общества. Особой близости, однако, между ними раньше не было, но встреча в Семипалатинске вышла неожиданно горячей. Психологически это понятно: для Федора Михайловича Семенов был первым знакомым из столицы, увиденным за семь лет, а магистр ботаники ничего не знал о судьбе автора «Бедных людей» после Семеновского плаца, и для него Достоевский словно воскрес из мертвых. Эта встреча превратила хороших знакомых в близких друзей.

Остаток вечера прошел в торопливых, сбивчивых и все же крайне интересных для обоих разговорах. Семенов расспрашивал Федора Михайловича о годах каторги и солдатчины, о его планах и надеждах. Достоевский рассказывал о пережитом с полной откровенностью, упомянул, что набрасывает книгу об остроге, хотя и плохо верит, что она сможет в ближайшие годы стать достоянием публики. Сказал, что положение свое здесь считает вполне сносным, благодаря хорошему отношению к нему областного начальства, и надеется, что скоро оно еще более улучшится. Недоверчиво качал головой, слушая повествование столичного гостя об оживлении общественной жизни, о том, что крупные государственные реформы образованная часть русского общества в создавшихся после военного поражения условиях находит неизбежными. Трудно было поверить в это человеку, вырванному из большой жизни семь лет назад, в ледниковый период николаевского режима.

Семенов сказал, что зиму он, по-видимому, проведет в Барнауле, который он считал наиболее интеллигентным из всех сибирских городов, аттестуя как «сибирские Афины». Достоевский, подумав, заявил, что он, пожалуй, сможет зимой выбраться в Барнаул. Договорились встретиться, предварительно списавшись.

Назавтра Достоевский и Демчинский провожали путешественника. Переправа через Иртыш летом долгая. Переплыв через старое русло, они стояли в ожидании лодок на Полковничьем острове под лучами утреннего августовского солнца. Троє приятелей, сблизившихся за последний день. Троє людей, ничего не знающих о своем будущемО том, как разнится оно.

Первый войдет в судьбу человечества как великий его художник, чьи произведения бессмертны.

Второй проживет долгую, очень долгую жизнь. К семье его прибавится другая — «Тян-Шанский», — по имени исследованных им гор. Он станет замечательным организатором научных сил, и страна сохранит о нем память как о человеке мудром и мужественном.

А третий... Пройдет немного лет, и наденет милейший Василий Демчинский жандармский мундир и будет сопровождать партию «политических преступников» в сибирскую каторгу, удивляя и ко всему привычный конвой изощренностью своих издевательств над беззащитными людьми. А потом сопьется, пойдет нищенствовать, и будем Семенов доставать для него грошовую службу на глухом полустанке где-то между Воронежем и Козловом. И останется от него в людской памяти слабый-слабый след только потому, что стоит он вот сейчас, смеясь и оживленно разговаривая, под нежарким солнцем августовского утра рядом с Достоевским и Семеновым.

Подходят лодки к Полковничьему острову...

Как ни медленно скрипела бюрократическая машина Российской империи, но 30 октября Гасфорд получил

Петербурга «высочайший приказ», коим Федор Достоевский производился в прапорщики.

Через несколько дней узнали об этом и в Семипалатинске.

Радость Федора Михайловича была неполной, потому что он не знал, разрешено ли ему печататься. Он справедливо предполагал худшее и горько сетовал в письме к Врангелю: «Ведь это средство к существованию моему и карьере, потому что я уверен в себе и надеюсь быть известным и составить себе значение, участь, обратить на себя внимание, наконец». Без этого он видит единственный смысл производства в том, что оно делает возможным брак с Исаевой: «Производство в офицеры если обрадовало меня, так именно потому, что, может быть, удастся поскорее увидеть ее». И буквально через две недели он отправляется в Кузнецк — на этот раз уже с официального разрешения.

Здесь было новое и решительное объяснение с Марией Дмитриевной, объяснение с Вергуновым, которого Федор Михайлович, вернувшись домой, всячески расхвалил в письме к Врангелю, хотя превозносить его, собственно, было не за что: молодому учителю ничего другого не оставалось, как потихоньку стушеваться.

Все было решено. Дело оставалось за малым — за деньгами. Их же совсем не было ни у Исаевой ни у Федора Михайловича. Ему не на что было экипироваться после производства в офицеры, выручил вечный Врангель, приславший каску, полусаблю и офицерский пиджак.

Нехватка денег преследовала Достоевского всю жизнь. Но, вероятно, никогда он так остро не ощущал ее, как в декабре пятьдесят шестого года. Однако Федор Михайлович жил в эти дни на таком душевном подъеме, что препятствий для него не существовало. В Семипалатинске ему удается занять весьма солидную сумму в шестьсот рублей серебром у горного инженера Ковриги-

на исследователя недр Баян-Ула и Каркаратов спутники Чокана в путешествии 1856 года. Но и этих денег ~~всего~~ осталось хватить на дорогу в оба конца, оплату свадебных брядов да на возвращение долгов Марии Дашевской требовалась квартира, и одежда, и хотя бы самая ~~принадлежавшая~~ меблировка. Приходилось просить у родственников, в основном Федор Михайлович рассчитывал на Куманиных — свою тетку и ее мужа людей весьма состоятельных.

Впрочем и Михаил Михайлович и старшие сестры Достоевского бедноте тоже никак не могли быть причислены. Но уж чем дети штаб-лекаря, получившего по томственное дворянство, никогда не отличались, так это ~~дворянским~~ дворянским пороком расточительства. Бережливы они были по-мещански, вели счет каждой копейке, порой трая на этом рубли. По своей социальной психологии эти

~~стремление во втором поколении~~ были стопроцентными российскими мещанами. Мещанином по своему внутреннему кладу был и их великий брат. Об этом хорошо сказала его современница Е. А. Штакенщнейлер, знаявшая ~~брата~~ зените славы. «Многие, со страхом подходя к нему, не видят, как много в нем мещанского, не пошлого,

пошлым он никогда не бывает, и пошлого в нем нет. Но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — ~~убо~~ ~~убо~~чайший мыслитель и гениальный писатель».

Творческий гений охранял мещанина Федора Достоевского от мещанских пороков. Накопительство было ему органически чуждо и избавлялся от денег он настолько ~~легко~~, насколько трудно они ему доставались. Но братья и сестры Федора Михайловича гениальными не ради.

Ведь в конце концов и убило-то Достоевского или уж во всяком случае, ускорило его смерть именно мещанско-

скопидомство его родии — спор с сестрой Варварой, который так взволновал писателя, что вызвал роковой разрыв кровеносных сосудов в легких, возник из-за наследственного вопроса. А Варвара Михайловна к тому времени была очень даже обеспеченным человеком. И брата она искренне любила. Но таков уж вечный закон мещанской психологии: когда на сцену выступает копейка, все чувства уходят за кулисы.

Если же говорить о мещанской морали, то с ее точки зрения одним из наиболее безнравственных поступков издавна считалась женитьба бедного мужчины на бедной женщине, т. е. то, что собирался совершить Федор Михайлович. Тетушка Куманина выразилась по этому поводу наиболее прямо: «Сам только что вышел из несчастья беспримерного, не обеспечен и тянет в свое горе другое существо, да и себя связывает вдвое, второе». Михаил же Михайлович, как человек образованный, говорил это же тоныше. Он писал брату: «Я даже отговаривать тебя не стану, потому что сам был влюблен, потому что сам задумал жениться и меня тоже все взапуски отговаривали, а я все-таки женился. Разве можно отговаривать? Это, по-моему, преступление».

Он не отговаривает, он опасается: «Я боюсь за тебя, мой милый. Я боюсь за тот путь, на который ты вступишь, путь самых мелких прозаических забот, грошевых треволнений, одним словом, за эту мелкую монету жизни, на которую ты размениваешь свои червонцы». И заканчивает свою братолюбивую тираду софистикой, достойной такого мастера житейского оппортунизма, каким он был: «Я никогда не раскаивался в своей женитьбе, много в ней радости было у меня, много радостей от детей, но, если б мне приходилось переделывать свою жизнь, право, я бы переделал ее».

Михаил Михайлович мерил великого брата своим ар-

кшишом — и грубо ошибался. Свои «червонцы» Достоевский разменивать не хотел, да и не мог.

И все-таки, испытав все виды психологического давления от грубого до нежного, — родственники Федора Михайловича вынуждены были примириться с его решением. Поняли: судьбу свою он строит сам и пытаться ему противодействовать бесполезно.

Нужные деньги были высланы в Семипалатинск.

«Командира 7 Сибирского линейного батальона № 167 1 февраля 1857 г., Семипалатинск, Градо-Кузнецкой Олдигитриевской церкви священно-церковно-служителям.

Прaporщик вверенного мне батальона Достоевский створиза себя в законное супружество проживающую в г. Кузнецке жену умершего заседателя по корчменной части коллежского секретаря Александра Исаева Марию Дмитриевну, имеющую от роду 29 лет; почему покорнейше прошу священно-церковно-служителей, ежели со стороны невесты не будет предстоять законных препятствий, то г. Достоевского свечать, от роду он имеет 34 года, ~~ж~~холост как он, так и невеста, вероисповедания православного г. Достоевского у исповеди и св. причастии ежегодно бывал, при чем прилагаю подпиську невесты и свидетельство смерти мужа ее, — по свидетельству же не оставить меня уведомить.

Подполковник Г. Белихов».

На пути в Кузнецк Федор Михайлович остановился в Барнауле у Семенова. Находился он, как свидетельствует ученый, в самом лучшем расположении духа и был проникнут твердой верой в счастливое будущее.

Эта встреча знаменательна тем, что во время ее Достоевский впервые «опробовал» на слушателе начатые

им «Записки из Мертвого дома». Семенов был потрясен силой и правдой нарисованных его другом картин катарги, психологической глубиной выведенных автором характеров. Петр Петрович любил первые повести Достоевского, но сразу почувствовал, что в новом своем создании писатель поднялся на более высокую ступень искусства.

Из Барнаула через станции Поятишинскую, Богатскую, Карайгалинскую Федор Михайлович помчался в Кузнецк.

«Обыск брачный № 17.

1857-го года февраля 6-го дня. По Указу Его Императорского Величества Одигитриевской церкви священнои церковнослужители произвели обыск о желающих вступить в брак и оказалось следующее:

1) Жених. Служащий в Сибирском линейном батальоне № 7 прапорщик Федор Михайлович Достоевский православного вероисповедания жительствует в Семипалатинске в приходе Богородской церкви.

2) Невеста. Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя, служащего по корчемной части коллежского секретаря Александра Исаева, православного вероисповедования жительствовала доныне в г. Кузнецке в приходе Одигитриевской церкви.

3) Возраст к супружеству имеют совершенный и именно — жених тридцать четырех лет, а невеста двадцати девяти лет, и оба находятся в здравом уме.

4) Родства между ними духовного или плотского родства и свойства, возбраняющего по установлениям св. церкви брак, никакого нет.

5) Жених холост, а невеста вдова после первого брака.

6) К бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению, как жених, так и невеста родителей в живых не имеют.

7) По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви препятствий к сему браку никакого никем не объявлено.

8) Для удовлетворения беспрепятственности сего брака представляются письменные документы: дозволение жениху от командира Сибирского линейного батальона № 7 от 1 февраля сего года за № 167-м.

9) Посему бракосочетание означенных лиц предложено совершить в вышеупомянутой Одигитриевской церкви сего месяца 6 дня в указанное время, при посторонних свидетелях.

10) Что все показанное здесь о женихе и невесте справедливо, в том удостоверяют своею подписью как они сами, так и по каждом поручатели, с тем, что если что покажется ложным, то подписавшие повинны за то суду [по правилам церковным и законам гражданским.

Жених, служащий в Сибирском линейном № 7 батальоне прaporщик Федор Михайлович Достоевский.

Невеста, вдова коллежского секретаря Мария Дмитриевна Исаева.

Поручатель по невесте коллежский асессор Иван Миронов Катанаев.

Поручатель по женихе чиновник таможенного ведомства Петр Сапожников.

Поручатель по женихе чиновник Кузнецкого училища учитель Николай Вергунов.

По невесте поручатель волости Нелюбинской государственный крестьянин Михаил Дмитриев Дмитриев же.

Обыск производили сей же церкви:

Священник Евгений Тюменцев.

Диакон Петр Лашков.

Дьячок Петр Углянский.

Пономарь Иван Слободской».

В список «поручателей» попали чуть не все немногочисленные кузнецкие знакомые Исаевой, в том числе и

неудачливый соперник Федора Михайловича Вергунов.

Заботы по устройству свадьбы взяла на себя жена исправника Анна Николаевна Катанасева, очень расположенная к Марии Дмитриевне. Благодаря ее хлопотам (да и не только хлопотам — Анна Николаевна приняла на себя и значительную часть расходов) церемония получилась весьма пышной. В церковь собрался чуть не весь Кузнецк, а праздничный стол отличался исключительным изобилием даже по масштабам сибирского хлебосольства.

Короткие дни, проведенные молодоженами в Кузнецке до отъезда, принадлежат к немногим безоблачно светлым в жизни Достоевского. Федор Михайлович был спокойно счастлив, угрюмость и хмурость его словно испарились; кузнецкое «общество» было им очаровано. Он постоянно бывал с женой на вечерах, много танцевал (танцором он был превосходным), шутил, охотно игра в карты по маленькой. Днем возился с Пашей Исаевым, который заметно подрос и превратился в изрядного озорника. Много гулял с Марией Дмитриевной по городским улицам, накинув военный плащ, и никак не мог с ней наполовину.

На обратном пути было решено погостить у Семенова. В дороге Федор Михайлович рассказывал жене о своем друге, о старожилах Барнаула, с которыми успел познакомиться, обещал сводить в театр, где ставились недурные любительские спектакли — на них блестали горные инженеры Самойловы, братья знаменитой актрисы Александринки.

Но в жизни писателя за светлым всегда шло черное.

Праздник кончился в Кузнецке. В Барнауле стало не до театра.

Там Достоевского свалил сильнейший припадок. Несколько дней после него Федор Михайлович находился в состоянии почти полной прострелки. Врач констатировал несомнен-

"У^иР эпилепсию, сказал что припадки бывают с о. повторяются, и если не будет предпринято самое лечение, то один из них может кончиться смертью больного от горловой спазмы. И же добавил что в Сибири о сколько-нибудь эффективном лечении не может быть и речи.

Испуганная и подавленная Мария Дмитриевна подняла от постели как только мухор Федор Ульянович Тинск тотчас же, встал.



Некоторые биографы Достоевского именно этому злосчастному припадку приписывали чуть ли не роковое значение, им объясняли то, что брак писателя, которого он с таким железным упорством добивался, очень скоро оказался несчастливым. Дескать, Мария Дмитриевна была настолько напугана болезнью мужа, что испуг убил в ней всякое чувство к нему и от супружества она уже не ждала ничего хорошего. Порой к этому прибавляется и такой, весьма романтический, мотив: Достоевский, мол, узнав, как тяжко он болен, сознательно решил отдалить жену от себя, чтобы его возможная смерть не принесла ей особенной боли.

Эти версии не учитывают того хорошо известного качества человеческой натуры, которое Федор Михайлович называл приживчивостью, того здорового инстинкта жизни, что не позволяет человеку сосредоточивать внимания на несчастьях и болезнях, если они не угрожают немедленной смертью. Духовная травма, несомненно, перенесенная Достоевским после припадка, скоро более или менее зарубцевалась, да и здоровье — особенно после двухмесячного отдыха в форпосте Озерном, в шестнадцати верстах от Семипалатинска — значительно окрепло. Надо сказать, что со временем Федор Михайлович научился смотреть на свою неизлечимую болезнь как на неизбежное зло, на которое нужно по возможности не обращать внимания. В отличие от многих эpileптиков он не стыдился болезни, не скрывал ее, но и не носился с ней. Каждый припадок причинял ему страшные страдания, на несколько дней выводил из рабочего состояния, но, когда болезнь отступала, Достоевский, сильный чело-

век, умел заставить себя забыть о ней до следующего приступа. Он не мог победить болезни, но во многом подчинил ее себе. Умер он, как известно, не от эпилепсии.

Нет у нас и никаких оснований думать, что Мария Дмитриевна приняла болезнь мужа чересчур трагически. Конечно, в Барнауле она была потрясена, однако это вовсе не заслуживает взгляда. Об этом лучше всего свидетельствует ее письмо сестре В. Д. Константиновской вскоре после ~~приезда в Семипалатинск~~: «Я ^{только} любима и балуема своим умным, добрым, ленивым в меня мужем, — даже уважаема и ^{влюблена} родными. Письма так милы и приветливы, что, правда, ^{его} старое становление Столько я получила подарков для меня тряпин-травою.

и все один другого лучше». Можно сомневаться в достоверности «приветливости» родных Федора Михайловича, ^{как противившихся его браку, но что} Мария Дмитриевна пишет искренне — это, мне кажется, несомненно.

Но тем не менее факт остается фактом — размолвики, ^{азлад в семенной жизни молодоженов начались вскоре} начались вскоре так никогда и не ^{Достоевский пишет той же В. Д.} ~~заслуживающие~~ ^{месяцевные} строки: «Знаете ли, у меня есть, стан очень ^{Каждый} предрассудок, предчувствие, что я скоро должен ^{умереть.} Такие предчувствия бывают почти всегда от ^{нитительности;} но уверяю Вас, что я в этом случае совершил ^{не} мнил и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете и что более ничего и не будет, к ^{уму можно стремиться».}

Странно, что никто, кажется, из писавших о первом браке Достоевского, не указал на истинные причины того, почему он оказался неудачным. Федор Михайлович — в этом-то, может быть, ярче всего проявились те его Мещанские черты, ^{всосанные с материнским молоком,} о



«Домик Достоевского» в Семипалатинске.

которых говорила Штакеншнейдер и которые в сфере мысли и творчества совершенно подавлялись глубиной его гения,— равенства в любви не признавал. Рыцарское преклонение перед любимой женщиной парадоксально сочеталось у Достоевского с требованием безусловного духовного подчинения женщины ему, даже растворения, так сказать, ее личности в нем. В многочисленных своих позднейших выпадах против женской «эмансипации», духовной самостоятельности женщины писатель теряет даже остроумие, которое вообще-то отличает его полемическую борьбу против враждебных ему взглядов, даже когда он явно несправедлив.

Ведь второе супружество Федора Михайловича потому и оказалось счастливым, что Анна Григорьевна Снег-

кина очень охотно «растворилась» в заботах о муже и семье, от всяких самостоятельных взглядов начисто отказалась и в конце концов, по чьему-то остроумному замечанию, «превратилась в контур по изданию сочинений Достоевского».

Когда же Федор Михайлович встречал женщину иного душевного склада, происходила драма. Так позже было с Аполлинарьей Сусловой, так было и с Исаевой.

Мария Дмитриевна к «корткому» типу никак не относилась. Она и по характеру была человеком сильным, гордым, а тяжелая жизнь приучила ее особенно и даже ~~навязчиво~~ подчеркивать свою самостоятельность. «Расторваться» даже в человеке, которого она искренне любила, она не могла. И когда Достоевский убедился в этом, он нагло отгородил ее от главного в себе — от своей духовной, творческой жизни.

Будь Мария Дмитриевна просто недалекой и малообразованной провинциалкой (образ, создавшийся в воображении второй жены Достоевского), она бы просто не заметила этого. Будь ее духовный мир хоть как-то со-~~ласштабен~~ интеллекту писателя, может быть, ей хватило бы силы войти в грандиозный творческий мир писателя. ~~того~~ не произошло. И в то же время Мария Дмитриевна была достаточно умна, чтобы понимать, что мир этот огромен, что для ее мужа он главный и что ей входа в него нет. И здесь источник мучений Марии Дмитриевны, Порой страшно ожесточавших ее против мужа.

И все-таки после смерти Марии Дмитриевны он вспоминал о ней с пронзительной болью, горчайшим сожалением о том, что так страшно исковеркало себя сильное глубокое чувство: «Другое существо, любившее меня и ~~которое я любил без меры~~ — лишил Достоевский старую Другу Врангелю, — жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. О друг мой, она любила меня беспредельно, и я любил ее тоже

без меры, но мы не жили с ней счастливо... Несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе... мы не могли перестать любить друг друга; даже, чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. ... Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что хороню с нею,— но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею».

Однако далеко пока до этого трагического письма.

Как бы ни отличалась реальная семейная жизнь Федора Михайловича от той идеальной, которую он представлял себе до женитьбы, был его все же вошел в определенную и с течением времени устоявшуюся колею. Сравнительно спокойный «темпоритм» последних семипалатинских лет Достоевского заметно отличается от судорожного первых. Эти годы почти лишены внешних драматических моментов. Писатель наконец получает возможность отдавать свои силы преимущественно главному делу жизни — литературному творчеству.

Молодожены сняли под квартиру второй этаж небольшого дома почтальона Липухина на Крепостной улице. В трех очень скромно меблированных комнатах Достоевский теперь проводил почти все свободные от службы часы. Внизу кроме хозяев жил денщик прaporщика Достоевского Василий, немолодой и рассудительный человек, которого Федор Михайлович полюбил и который сам очень привязался к писателю.

Хорошие отношения установились у Достоевских и с хозяевами дома. Вскоре Липухин помог Федору Михайловичу и Марии Дмитриевне в одном немаловажном деле. Нужно было определить на учение Пашу Исаева, который рос мальчиком добрым, неглупым, привязчивым, но довольно распущенными; отчим с тревогой видел в нем задатки безалаберности, искорежившей жизнь Александра

бра Ивановича. В Кузнецке ребенок почти не учился, не-
где ему было получить образование и в Семипалатинске.
Достоевский решил поместить Пашу в Омский Кадетский
корпус — в те годы действительно едва ли не лучшее
учебное заведение в Сибири. Достоевский был знаком с
инспектором корпуса Ждан-Пушкиным помогавшим пи-
сателю еще в острожный его период. Ждан-Пушкин зна-
вал и Александра Исаева, и хлопоты об определении
Паши увенчались успехом. Но мальчика надо было еще
доставить в Омск. За это и взялся охотно семипалатин-
ский почтальон, часто ездивший в центр края. Перед
одной из его служебных поездок мать и отчим простились

Федор Михайлович рассчитывал, что его пребывание
в Сибири теперь не задержится, и вроде бы имел на это
основание: летом 1857 года ему были возвращены дво-
рянские права. Об этом знали люди, интересовавшиеся
судьбой писателя-изгнанника. Герцен сообщал из Лон-
дона Н. М. Щепкину, сыну великого актера: «Спешнее и
Достоевский прощены». Но и «прощенный» Федор Ми-
хайлович пока не имеет еще права оставить службу, по-
кинуть Сибирь. Надежда вновь — в который уже раз —
сменяется разочарованием, и Достоевский подумывает
о том, не начать ли искать в здешних краях какую-нибудь
доходную частную службу — например, у золотопро-
мышленников.

Бедность продолжалась. Федор Михайлович благода-
рит брата Михаила за присланные фрак и брюки, но жа-
ет, что прислан фрак, а не сюртук — сюртук практиче-
ски не нужен, он необходим, а денег на то, чтобы сшить его в Се-
мипалатинске, сразу не наберешь. Писатель надеется на
будущие литературные заработки («Я могу заработать
без труда большого несравненно больше шестисот руб-
леей в год»), но вопрос о разрешении печататься все еще
не совсем ясен. Правда, в августовской книжке «Отечес-
ти»

ственных записок» за 1857 год появляется неожиданно для автора его «Детская сказка», написанная восемь лет назад в Алексеевском равелине и тогда же переданная Краевскому. Но появилась она под измененным названием «Маленький герой» и подписана псевдонимом «М-ний». И вовсе не сочувствие к так много перенесшему писателю заставило издателя-коммерсанта Краевского опубликовать этот рассказ при первой возможности: просто он помнит, что Достоевский с докаторжных времен должен ему некоторую сумму, и долга списывать не собирается. Кстати, Федор Михайлович свою работу «Я Краевского с полным основанием на то называл тоже каторжной. Вечно нуждавшийся молодой писатель не вылезал из долгов у умелого «журнального предпринимателя».

Бедняк Достоевский, не имевший возможности спить сюртук, был человеком, всегда готовым помочь еще более нуждающимся. Несколько месяцев он содержал семью слепого старика татарина, впавшего в нищету, оказывал денежную помощь ссылочному поляку Нововейскому.

Продолжалась и служба — теперь ни для чего не нужная, только отнимавшая драгоценное время. А им Достоевский страшно дорожил. Назначая какое-нибудь свидание, он всегда точно указывал часы и минуты встречи и неизменно прибавлял: «Ни раньше, ни позже» и сам с педантической аккуратностью выполнял это условие. Подчиненными, которые еще недавно были его сотоварщиками, прaporщик был предельно мягок, всячески избегал малейших конфликтов с солдатами, охотно уступал им, если даже был прав.

Часть своего досуга Федор Михайлович посвящал археологии и собрал целую коллекцию древних монет, украшений и утвари. Составлял он и минералогическую коллекцию.

Разъезжались из Семипалатинска старые знакомые. Приезжали новые люди, но с ними Федор Михайлович, поглощенный творческой работой, сходился мало. Дружеские отношения у него возникли лишь с новым ротным командиром Артемием Гейбовичем, человеком благородным и образованным.

Зато настоящим праздником бывал приезд старых друзей — Семенова и Валиханова. «Министр ботаники», так называли Петра Петровича сопровождавшие его казаки, из своих экспедиций к Иссык-Кулю вынес смелый замысел организовать поездку русского агента в таинственную, много веков закрытую для европейцев Кашгарию. Единственным человеком, который мог осуществить этот дерзкий план — в этом Семенов не сомневался. — Чокан Валиханов. Талант молодого путешественника был уже оценен по достоинству: в феврале 1857 года по рекомендации Семенова двадцативосьмилетнего поручика «султана Валиханова» заочно избирают действительным членом Русского географического общества. В том же году Чокан становился в Семипалатинске перед носом своей поездкой к «дикокаменным киргизам» — прошагом его кашгарского рейда, одного из самых дерзостных предприятий русской географической науки XIX века.

Значение этой экспедиции придавалось исключительное. С ее планом сочли необходимым познакомить императора. Для того чтобы собрать торговый караваи, с которыми мог бы незаметно пройти офицер-ученый, в Семипалатинск специально поехал товарищ (т. е. по нашей терминологии — заместитель) губернатора области сибирских киргизов К. К. Гутковский — человек, не просто склонивший Чокана, подобно Гасфорту, но и дружески любивший его.

Знал ли Достоевский о замысле Кашгарской экспедиции? Трудно точно ответить на этот вопрос. Зиму 1857—

1858 гг. Валиханов провел в Семиречье и сам рассказывать о своих планах Федору Михайловичу не мог. Официально же они, естественно, хранились в большом секрете. Однако с пятьдесят пятого года Федор Михайлович бывал в татарской слободке в доме купца Букаша Аупаева. А Букаш и был владельцем каравана, который сопровождал «Алимбай» — Чокан Валиханов. Букаш отлично знал «секрет каравана» и, как было сказано в официальных документах, лишь по «старости лет» сам не возглавил его. Вполне возможно, что, провожая из Семипалатинска этот караван, Федор Михайлович думал и беспокоился о своем молодом друге.

Если это было так, то сердце не обманывало Достоевского. Начало Кашгарской экспедиции Чокана было сумбурным и тревожным. Валиханов попал в сложное положение. Он должен был ожидать караван на берегу Акса в юрте некоего Гирея, знавшего об его планах. Но шли дни и недели, а караван не появлялся — сборы в Семипалатинске затянулись. Оставаться у Гирея более было невозможно. Вернуться в Семипалатинск Чокан не мог — у него не было ни документов, ни форменной одежды, для него одинаково опасной могла оказаться встреча и с казачьим пикетом, который задержал бы его как бродягу и тем нарушил бы конспирацию, и со степными разбойниками, которых было довольно много в пограничной зоне. Из юрты Гирея Валиханов пишет письмо, где есть слова: «Сегодня я исчезаю», и после этого действительно исчезает на двадцать четыре дня, в полном одиночестве скрываясь в скалах, не решаясь развести огня, голодая — и так до тех пор, пока не показался все-таки вдали этот долгожданный караван!..

Два последних семипалатинских года были для Достоевского временем напряженной подготовки к окончатель-

тельному возвращению в литературу. Это возвращение томимо всех прочих причин было нелегким и потому, что оборвались связи писателя со столичными редакциями и восстанавливать их было непросто. «Не знаю куда послать. Редакции журналов теперь для меня большей частью не знакомы», — пишет он Евгению Якушкину.

Это не очень точно. Людей, которые стояли во главе двух крупнейших журналов того времени — «Современника» и «Отечественных записок», — Федор Михайлович знал хорошо. Но к Краевскому, на которого он работал до ареста, возвращаться ему страшно не хотелось: «журнальная якоторга» у него была свежа в памяти Достоевского в возможность сотрудничества в «Современнике» он не особенно верил, потому что между ним и людьми «Современника», соратниками Белинского, лежала пропасть разрыва.

Федор Михайлович присматривался к московскому «Русскомувестнику», который будущий вождь реакции Катков начал весьма либерально (репутацию журнала в первую очередь составили «Губернские очерки» Шедрина). По просьбе Достоевского его товарищ по общест-
с Петрашевского Плещеев из Оренбурга пишет о нем Каткову, которого поэт лично знает. Завязываются переговоры. Но еще до их окончания Достоевский получает через Михаила Михайловича предложение от некоего Моллера, доверенного лица богача и литератора-дilettанта графа Кушелева-Безбородко, собравшегося с пятьдесят девятого года издавать журнал «Русское слово». Достоевский запродаил «на корню» Моллеру одну из своих будущих вещей, получив скромную полистную оплату — вчетверо меньшую той, которую получал Тургенев. Опять начиналось беличье колесо редакционных авансов и долгов журналам...

Что же мог предложить столичным редакциям писа-

тель, почти на десять лет вычеркнутый из литературной жизни?

В Семипалатинске работа Достоевского над «Записками из Мертвого дома» уже вышла из первоначальной стадии фиксации материала и предварительных набросков. П. П. Семенову писатель читал уже законченные главы и пересказывал содержание ненаписанных. И естественно, что в первую очередь просилось на бумагу именно увиденное, пережитое и передуманное на каторге. Но было ясно, что прорваться в печать с таким произведением литератору, которому только что «возвратили имя», — дело безнадежное, и Федор Михайлович на время откладывает «Мертвый дом». В письмах своим корреспондентам он упоминает о романе, «величиною с Диккенсовы романы», над которым он работает. «Это длинный роман, приключения одного лица, имеющие между собой цельную, общую связь, а между тем состоящие из совершенно отдельных друг от друга и законченных само по себе эпизодов. Каждый эпизод составляет часть. Так что я, например, очень могу помешать по эпизоду, и это составит отдельное приключение или повесть. ...Роман состоит из 3-х книг, каждая листов в 20 печатных и из нескольких частей». Именно о публикации этого романа сначала и шла речь в переговорах с Катковым.

Но постепенно Достоевский оставляет и этот замысел. Причин он называет две: не хочется торопливой работой портить хороший план и не хватает знания деталей современной жизни России — их на берегах Иртыша не получишь. От этого романа не осталось вроде бы никаких следов, однако вполне возможно, что его части вошли в другие произведения писателя, в частности, может быть, и «Дядюшкин сон», и «Село Степанчиково» представляют собой его фрагменты, «отдельные приключения» (в конце «Дядюшкина сна», например, говорится, что повесть является «первым отделом» «летописи»),

Во всяком случае, к концу 50-го года Достоевскому становится ясен план двух повестей — «листов в 5 печатных» («Дядюшкин сон») и «длинной г ести» или «небольшого романа» («Село Степанчиково»). ^{Обе} они были завершены на Иртыше.



Грузно и стремительно несется чрез темные волны мирового пространства шар земной, попеременно подставляя солнечному светилу то один, то другой круглый бок свой, в то время как на противоположный, по удачному выражению дипломата и стихотворца Федора Ивановича Тютчева, небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины.

Земная жизнь кругом объята снами, как говорил сей славный поэт, и спит в эту мартовскую ночь огромная империя с неустановившимися еще, как бы непрерывно шевелящимися границами. Спят солдаты в казармах и палатах полевых лагерей, спят в избах креценая собственность — помещичьи мужички российские, спят господа обер- и штаб-офицеры, спят коллежские регистраторы, коллежские асессоры и коллежские советники. Спит в своем Зимнем дворце молодой полноеющий мужчина гвардейского сложения — хозяин земли русской, ровно дыша и созерцая соответствующие положению его царственные сны. Все, в общем, в порядке, дуют, правда, некие новые ветры, и фрегату монархии приходится лавировать, но оснастка его надежна и слишком уж волноваться не хочется. И далеко еще до метательного снаряда Кибальчича.

В том же странном северном городе спит, отодвинув ненадолго корректуры «Современника», невысокий человек с усталым лицом, с недавно отпущенной рыжеватой бородкой, чем-то неуловимо похожий на другого — того, кому предстоит родиться тоже на берегах Волги — через одиннадцать лет. Пройдет два года, и кормчие имперского фрегата сообразят, что в рукописях рыжебородого редак-

тора журнала страшная взрывчатая сила, способная поднять на воздух Зимний дворец со всеми его обитателями. Сообразят — и на все пойдут, вплоть до мелкого шулерства, до подделки подписей, чтобы вырвать близорукого человека с рыжей бородкой из людской массы и загнать его в лютую мглу вилюйского одиночества.

Пока никто не знает о грядущей судьбе этого человека. Никто, кроме него самого. Нет, конечно, он надеется на победу. Но, ученый, человек трезвого расчета, не исключает и противоположного варианта.

А за тридевять земель от Петербурга, в далеком Кашгаре, уставший от вчерашнего четверга — здешнего базарного дня — спит молодой кокандский купец, родственник караван-бashi *Мусабая*. Купцу снится странный сон: берег большой реки, за которым раскрывается степной простор, мальчики в казенной форме и сам он, простирающий патетически руку вдаль и с волнением сердечным произносящий наивную клятву: *пройти*, обязательно пройти древним путем славного венецианца Марко Поло. Купец просыпается и долго в рассветной полутьме с недоумением всматривается в лежащую рядом девочку с полуоткрытым влажным ртом. Потом тихонько смеется: ну да, он же Алимбай, вот рядом спит его молодая жена... О аллах, как все это далеко — Омск, Гасфорг, Семипалатинск, голубчик Федя. Другой мир, другая планета. Но он прошел путем старого венецианца, и он вернется в свой мир, как бы ни принююхивались к нему ищейки хаким-бека, недавно выследившие немецкого путешественника Адольфа Шлагинтвейта, чья отрубленная голова месяцы возвышалась на башне из других человеческих голов.

...А вот Федор Михайлович не спит. Тихонько бродит по комнате, курит. За последнее время сдружился он с бессонницей. Еще в пятьдесят седьмом твердо надеялся он быть в Москве, даже газет по этому случаю не выпи-

сал, но и пятьдесят седьмой прошел, и пятьдесят восьмой, и пятьдесят девятый идет, а он все в Семипалатинске, словно заколдовал его этот город и стал Иртыш магической чертой, через которую умри — не переступишь.

И оттого, должно быть, становится противен город, где ведь, что ни говори, и хорошего было немало, и кажется он пустым. Ни одной симпатичной личности не осталось: храброго вояжу Хоментовского за отсутствие особого почтения ко всякому начальству отправили аж во Владимир на столь странную для старого рубаки должность провиантмейстера (через несколько месяцев Федор Михайлович встретится со старым приятелем во Владимире и выпьет с ним доброй вишневой настойки, Белихов, упокой господи его душу, лежит в могиле, Врангель, бог его знает, то ли в Индии, то ли на Амуре, Обух — в Верном, милый Вали-хан — вообще в неизвестности и жив ли? С одними Гейбовичами еще можно отвести душу, но и то ходят слухи, что назначают Артемия Ивановича городничим в Аягуз.

Жена — жена рядом. Спит в соседней комнате. Рядом — и далеко. Нет с ней лада, покоя, счастья. Он любит ее, да мало радости в этой любви. В выдуманном мире живет Мария Дмитриевна, и нехорошо ей там, вечно какие-то нелепости происходят в том мире: самые благородные помыслы оборачиваются драмой, иль фарсом, иль тем и другим вместе. Вот спасала она Марину, ту dochь поляка, от отца-тирана, воспитывала, а кончила тем, что стала ревновать ее к Федору Михайловичу. Между тем, уж очень небрезгливым нужно быть, чтоб польститься на эту девицу. Выдали ее наконец замуж, но нрава ее это не изменило. Теперь муж ее, казачий хорунжий, уходя из дома, косы ее прищемляет ящиком комода, ящик запирает, а ключ уносит с собой, оставляя жену к комоду прикованной. Грязь и варварство...

Все так, да об этом надо думать. Федор Михайло-

вич знает, что подходит его семипалатинское сидение к концу, что вышел указ об его отставке, но все равно свобода еще не полная — в столицах ему жить запрещено. Однако и это не главное; конечно, снять запрет будет хлопотно, но вряд ли уж долго запрещение продержится, по обстоятельствам общественным видно — нет, не долго. Другое больше беспокоит. Он надеялся разом блестательно вернуться на писательское поприще, одним ударом восстановить свое авторское имя. А вот тут-то вроде и не получается...

«Дядюшкин сон» был принят издателями «Русского слова» почти с благоговением и опубликован незамедлительно. Тут ничего другого и ожидать не приходилось — еще б не доставало, чтоб этот сомнительный журнальчик, затеянный барином-дилетантом с полумиллионным годовым доходом, не ухватился обеими руками за вещь самого автора «Бедных людей» (через несколько лет яростный демократ и вместе с тем журнальный предприниматель складки не мягче, чем у Краевского, репетитор детей Герцена, на старости лет заведший у себя в доме негра-лакея, Григорий Евлампиевич Благосветлов поставит «Русское слово» на железные деловые рельсы, а гениальный юноша Дмитрий Писарев блестательными статьями, написанными в одиночке Петропавловской крепости, превратит журнал в первый по популярности орган русского радикализма)...

Но Федор Михайлович очень беспокоился, как будет встречена эта первая после десятилетнего перерыва повесть, подписанная его именем, просил брата сообщить ему не только печатные отзывы на нее, но и малейшие толки, вызванные ею в обществе. В то время Михаил Михайлович уже вновь любил брата без оглядки и любое его поручение выполнить был готов во что бы то ни стало.

А вот это не смог: не то, что печатных отзывов (ну хоть бы самой кратенькой рецензийки в каком-нибудь еженедельнике — расплодилось их в тот век гласности, что грибов), но и устных — ни-ни... А ведь только о том, что некая статская советница Толмачева на каком-то губернском литературном вечере осмелилась прочесть пушкинские «Египетские ночи», написаны и наговорены горы Урал. Кавказ. Гималаи. И в посрамление статской советницы и, преимущественно, в одобрение ее прогрессивности и свободы от предрассудков.

А вот «Дядюшкиного сна» будто и в природе не было Чертог журналистики сиял. Но не для него.

А «Село Степанчиково» еще предстояло пристроить

Переговоры с Катковым шли вроде бы и мирно. Не спешно. По-джентльменски (в ту пору редактор «Русского вестника» английские обычаи обожал). Каткову спешить некуда. Достоевскому остается делать вид, что ему тоже, хотя без гонорара за «Село» просто трудно выехать в Россию. Но гонор приходится выдерживать — ведут переговоры два литератора.

Только у одного за плечами — контора преусспевающего издания, а у другого — каторга и солдатчина. Только впереди у одного — гениальные романы и между ними злость, иногда легкая, иногда отчаянная, что приходится работать на «джентльмена» Каткова, тяжелой и неуклюжей редакторской дланью выбрасывающего порой из гениальных романов в небытие великие страницы. А у «джентльмена» в будущем одноцветно мрачная слава первого ретрограда страны, цепного пса трона (о продавшемся реакции цинике Суворине, вероятно, можно было написать небезинтересный психологический этюд; да вот его и в пьесы вставлять начали. А что напишешь о Каткове? Целен и сер, как гранит)

Позже редактор «Русского вестника» за Достоевского, как автора своего журнала, держался отчаянно. Но в

1859-м он еще не понимал, как ему коммерчески выгоден Федор Михайлович, и переговоры зашли в тупик. Достоевский пишет брату почти с отчаянием: «Гончаров, например, взял 7000 за свой роман, по-моему, отвратительный, и Тургеневу за его Дворянское гнездо (я, наконец, прочел. Чрезвычайно хорошо.) сам Катков (у которого я прошу 100 руб. с листа) давал 4000 рублей, т. е. по 400 рублей с листа. Друг мой! Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже, и, наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400? От бедности я принужден торопиться и писать для денег, следовательно, непременно портить».

Тут все верно, кроме того, конечно, что «Обломов»— отвратительный роман, и такой частности, что и ста рублей за лист Достоевскому пока никто не давал.

Забрезжила новая надежда. Панаев и Некрасов вроде бы заинтересовались новым произведением сибирского изгнанника и вообще с большой теплотой вспоминали о нем и проявляли явное желание возобновить с ним отношения, давно и резко прерванные. Так оно, вероятно, и было, и надо думать, что у Некрасова подобные намерения возникали (у Панаева, как известно, самостоятельных от Николая Алексеевича желаний не появлялось). Ведь как никак их на всю жизнь связала та светлая ночь, когда Некрасов с Григоровичем, прочитав рукопись «Бедных людей», прибежали на квартиру начинающего автора, чтобы немедленно, не откладывая до утра, сказать о своем восторге. Уже в старости вспоминал Федор Михайлович об этой ночи, как об одном из самых счастливых мигов своей жизни... И, конечно, возобновлению отношений с редактором «Современника» он только обрадовался.

Но, получив рукопись «Села Степаничкова», Некра-

сов повел себя очень уклончиво, а затем предложил условия, равносильные отказу.

Поведение редактора «Современника» может показаться просто загадочным — ведь инициатива тут исходила от него, идеологически в повести Достоевского не было ничего явно противоречащего позиции журнала; предположим даже, что Некрасову она совершенно не понравилась, однако же печатались ведь и в «Современнике» вещи куда более слабые художественно и значительно расходившиеся с направлением журнала.

И все-таки, как это ни странно, «Село Степанчиково», по-видимому, было отвергнуто Некрасовым именно по эстетическим мотивам, как произведение, лежащее ниже максимально допустимых пределов художественной слабости. Странно это потому, что вкус и редакторская прозорливость его безукоризнены и огромны. Сколько писателей и книг, оставшихся навсегда, первым довел до читателя Некрасов-редактор — не перечислишь! Чернышевский уже в конце жизни не переставал удивляться, вспоминая о том, что на первом же свидании, прочитав рецензию в несколько страничек, написанную им, совершенно никому не известным молодым учителем, редактор первого журнала страны спокойно заговорил с ним как с будущим руководителем «Современника». Но вот в отношении повести Достоевского Некрасов и совершил единственную свою редакторскую ошибку.

Так это воспринимали и современники. Писатель П. М. Ковалевский писал о Некрасове: «Ошибся он один раз, зато сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся с повестью Достоевского «Село Степанчиково»... Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше,— произнес Некрасов приговор — и ошибся...»

Странно, разумеется, но иного объяснения не подберешь. Личные трения между двумя писателями в последние годы перед арестом Достоевского, безусловно, были

перечеркнуты царским приговором. О Достоевском-касторжнике Некрасов думал, создавая в поэме «Несчастные» героический образ Крота. Об эволюции мировоззрения Достоевского вправо поэт ничего не мог знать. Через шестнадцать лет даже серьезные идеиные расхождения не помешали ему заказать автору «Преступления и наказания» роман для «Отечественных записок». Человек сильного и тонкого ума, Некрасов отлично понимал то, что порой оставалось непонятным менее прозорливым его соратникам: какие бы взгляды ни декларировал Достоевский, творчество его в своей основе остается бунтарским и гуманистическим.

Очевидно, при оценке «Села Степанчикова» над Некрасовым довел критический авторитет его великого учителя; Белинский же, как известно, после «Двойника» не принял ни одного произведения Достоевского.

Уже переехав в Тверь, Достоевский возобновил хлопоты с пристройством повести. Пришлось-таки через брата обратиться к ненавистному Краевскому. Тот повесть взял, кое-что снисходительно в ней похвалил, но, в общем, заметил, что вещь порядочно растрянута. Это был сильный удар по авторскому самолюбию.

Наконец с отставкой все стало ясно — указ о ней дошел до Семипалатинска. Да, в столицах жить запрещено. Надо выбрать губернский город для жительства. Во времена второй герценовской ссылки в таких случаях выбор делили между Тверью и Новгородом — лишь эти два губернские центра лежали между столицами. С тех пор как была проложена Николаевская железная дорога и древнейший русский город оказался в стороне от маршрута «чугунки», выбирать стало не из чего. Федор Михайлович, разумеется, назвал Тверь.

Последние недели семипалатинского жития Достоевского были скрашены встречей с дорогим другом. 12 апреля 1859 года после опаснейшего путешествия, длившего-

гося десять месяцев и четырнадцать дней, Чокан прибыл в Верное, а вскоре по пути в Омск остановился в Семипалатинске.

Чокан возвращался, собрав ценнейшие сведения. Возвращался победителем, героем, совершившим подвиг. Его ждали высокие награды, слава, признание. Скоро в официальной бумаге сам директор азиатского департамента министерства иностранных дел выдающийся путешественник Е. П. Ковалевский назовет двадцатичетырехлетнего поручика «гениальным молодым человеком», «замечательным ученым». Свою причастность к подвигу молодого ученого, а следовательно, и право на свою долю наград начнут доказывать многие сановники разных степеней значительности. Сам Гасфорд пожелает «округлить» слог валихановского отчета (к счастью, с отправкой отчета в Петербург так торопились, что у бывшего военного ветеринара не осталось времени на задуманную операцию, и своеобразный стиль Валиханова не был выхолощен).

Скоро, всего через три года, Чокан Чингисович узнает, как может Российская империя отблагодарить своего поданного, совершившего подвиг. Но сейчас, что скрывать, он рад этой надвигающейся славе, приближение которой он чувствует уже в Семипалатинске. Однако куда больше рад Валиханов сделанному. Это бескорыстная радость исследователя, открывателя, и она очень понятна Федору Михайловичу, который откровенно гордится своим молодым другом.

Чокан Чингисович — постоянный гость в домике на Крепостной улице. Да нет, гость — не то слово. Он здесь свой человек. Мария Дмитриевна всегда рада ему, а Федор Михайлович светлеет лицом, когда на скрипучей лесенке слышатся быстрые шаги поручика-путешественника. Денщик Василий раздувает самовар. Дымят трубки, и до утра делятся рассказы Валиханова о таинствен-

ном Кашгаре, о долгом и опасном пути, о краях, известных европейцам никак не более внутренней Африки.

Наконец Чокан Чингисович уезжает в Омск. Но друзья расстаются ненадолго. Вскоре Достоевский получает на руки «проездной билет за № 2030», подписанный новым командиром 7 Сибирского линейного батальона майором Скоробогатовым: «...Ныне прапорщик Достоевский по высочайшему приказу, состоявшемуся в 18 день марта сего 1859, уволен за болезнь от службы подпоручиком, который по отставке изъявил место жительства в Твери. Для чего и дан сей временный билет на проезд впредь до получения паспорта в областном городе Семипалатинске июня 30 дня 1859 года».

К сборам готовились давно, и они недолги. Куплен большой тарантас — неуклюжая, но прочная и быстрая в дорожной починке колымага. Вещи собраны, благо их совсем не много. Артемию Гейбовичу Достоевский дарит свои коллекции минералов и старинных вещиц, свою «полусаблю», свою фотографию в мундире офицера 7 Линейного батальона. Уговорился он с Артемием Ивановичем и о том, что возьмет к себе денщика Василия — Достоевский уверен, что в семье Гейбовичей к нему будут относиться по-человечески.

А будущий аягузский городничий подносит бывшему прапорщику флягу в плетеном чехле, наполненную померанцевой.

— Разопью, когда перебуду через Урал,— говорит Достоевский, принимая подарок.

В пять часов пополудни 2 июля 1859 года тарантас выехал за городскую черту Семипалатинска.

Погода до Омска стояла бесподобная, и дорога показалась легкой. В Омске предстояло забрать из корпуса Пашу Исаева. Пробыли там Достоевские дни три или четыре. Побывал Федор Михайлович у некоторых старых знакомых — у коменданта крепости де Граве, у Ждан-

Пушкина (Ивановых в Омске давно уже не было). Но столица края нагнала на Федора Михайловича тоску. Совсем еще, оказывается, не зарубцевались в памяти острожные дни, стена крепости наводила на мысли и воспоминания невыразимо грустные...

Оживила Достоевского лишь новая встреча с Валихановым. Выяснилось, что и теперь они расстанутся недолго: через месяц Чокана Чингисовича вызывали в Петербург, а Федор Михайлович твердо надеялся, что Тверь окажется лишь кратковременной станцией на пути в столицу.

К этой встрече, видимо, и относится знаменитая фотография двух друзей.

Правда, Борис Герасимов уверенно датировал ее 1858 годом и даже указывал, что сделана она семипалатинским фотографом Н. Лейбина. Однако в том году Валиханов в Семипалатинске не был вообще и, значит, не мог посещать заведение Н. Лейбина. Относили фотографию и к 1856-му, но в том году Федор Михайлович еще не мог носить офицерский мундир.

Мне кажется, что датировать снимок позволяет кинжал, который Валиханов держит в правой руке.

Этот маленький кинжал, пригодный лишь для разрезания книжных листов, подарил Достоевскому Врангель, уезжая из Семипалатинска. Теперь же, при прощании с Валихановым, Федор Михайлович поднес его на память молодому другу. Об этом Достоевский совершенно определенно пишет Врангелю из Твери 31 октября 1859 г.: «Маленький кинжал... я почел своей собственностью... и, уезжая, подарил в свою очередь, между прочим книжалик Валиханову...»

Здесь, хотя это и выходит за пределы нашей темы, мы должны коснуться дальнейших отношений Достоевского и Валиханова.

В том же письме Врангелю Федор Михайлович еще

несколько раз называет фамилию ~~столичного кружка~~ "Советского кружка" нов премилый и презамечательный в Петербурге? ...Он член Географического общества. Справьтесь там о Валиханове, если будет время. Я его очень люблю и очень им интересуюсь.

Невероятно, что дружба двух ременников продолжалась и в столице, где Валиханов был оставлен для занятий в азиатском департаменте и где он прожил до весны 1861 года.

В то время вокруг Федора Михайловича собрался кружок литераторов, составивший с шестьдесят первого года, как бы сейчас сказали, авторский актив журнала «Время». В кружок входили кроме братьев Достоевских высокоталантливый критик и поэт Аполлон Григорьев, молодой зоолог, педантично и самоуверенно начинавший литературную карьеру Николай Страхов, поэты Аполлон Майков и Яков Полонский, автор чрезвычайно смелых (не только по вкусам того времени) эротических стихотворений Всеволод Крестовский и некоторые другие. Среди членов кружка были люди весьма даровитые, большинство из них разделяло с Достоевским очень зыбкую и эклектичную идеологию «почвенничества», и никто толком не понимал мягкой сущности его творчества.

В этом кружке Валиханов был и своим и не своим. В домах обоих Достоевских он бывал постоянно, в быту ~~и многими~~ их друзьями он поддерживал весьма тесные ~~взаимоотношения, но их~~ общественно-политических взглядов от-

ноду ~~и~~ ^и ~~встречал и к~~ Валиханова ~~и~~ ^к «почве» относился с иронией.

с полным основанием считали своих политическими врагами, к тем, кого реакционная печать откровенно оскорбительно именовала «мальчишками» и «свистунами», а межеумочное «Время» ехидно, но и не без уважения — «теоретиками». Чокан Чингисович бывал у Чернышевского в редакции «Современника», близко сопелся

с братьями Курочкиными, особенно с Николаем. А Василий и Николай Курочкины были не только поэта-сатириками — один очень крупным, второй — «активнейшими деятелями первой подпольной «Земли Воли».

Не надо гримировать Чокана Валиханова под Добrolюбова — последовательным революционным демократом он не был. Но он, безо всяких сомнений, занимал значительно более прогрессивную и ясную позицию, чем участники кружка Достоевских.

В довольно односторонних воспоминаниях Н. М. Ядринцева образ жизни Валиханова в Петербурге изображен чуть ли не сплошным праздником, что якобы и привело к тому, что он не оправдал «ожиданий, ^{какие} возлагали на него люди, коротко его знавшие». Это совершенно неверно. Достаточно сказать, что штаб-ротмистр Ч. Ч. Валиханов одновременно работал в азиатском департаменте, военно-ученом комитете Генерального штаба и географическом обществе, слушал лекции на историко-филологическом факультете университета, много писал для журналов и энциклопедического словаря. Не правда ли, подходящая жизнь для беззаботного флан-

Однако женоненавистником молодой штаб-ротмистр тоже не был. Некоторые его рассказы на дружеских вечерах имели, вероятно, весьма откровенный характер.

Достоевского такие рассказы не шокировали, он ханжеством тоже не страдал. В черновых набросках к «Подростку» он записывает: «как загаливался (страшное преступление, Валиханов, обаяние)».

Весной шестьдесят первого года болезнь заставила Чокана Чингисовича уехать из Петербурга. Железным здоровьем он никогда не обладал. Еще Гасфорд в официальном донесении писал о его «природной слабой организации».

Первоначально Валиханов предполагал, что уезжает лишь на несколько месяцев, а осенью вернется в столицу и продолжит свою громадную научную работу. Но уже вскоре ему приходится сообщить Федору Михайловичу: «Здоровье мое не хуже и не лучше, покашливаю, как и прежде, хотя пью кумыс». А к зиме он «пришел... к такому заключению, что с моим здоровьем в Петербурге жить постоянно нельзя». Он еще полон столичными интересами, передает сердечные приветы Марии Дмитриевне, «Михаилу Михайловичу и дому его», Майкову, Полонскому, Николаю Курочкину, спрашивая о литературных новостях ^{просит} присыпать ему номера «Времени» «в Кокчетавскую станицу, через Петропавловск в Западной Сибири». Однако, сообразуясь с состоянием здоровья, Валиханов уже строит планы деятельности в степи и с обычной дужеской откровенностью делится ими с Федором Михайловичем: «Я хочу получить место консула в Кашгаре, а в противном случае выйти в отставку и служить у себя в орде по выборам».

Царская Россия достойно отблагодарила Валиханова за ^{его} подвиг. Консулского места он не получил. Старшим султаном Атбасарского округа он был выбран, получив 25 голосов против 14 голосов своего соперника, но, вопреки всем законным основаниям, не был утвержден. Чокан Чингисович писал Достоевскому, что его противник дал губернским чиновникам взятку. Так оно, надеялся, и было, но сам же Валиханов тут же объясняет дело шире: он, образованный человек прогрессивных взглядов, не нужен царской администрации, мало того, ей, желающей, чтобы Степь навсегда оставалась неграмотной, он просто вреден; он пример, которого нельзя допустить.

Тяжелое впечатление оставляет это завершеннее переписку двух друзей. Оно написано с обычным чокаповским остроумием, но .

ударила Валиханова эта злая несправедливость, перечеркнувшая его планы активной деятельности в Степи. Он пишет: «Чувствую себя очень плохо, как физически, так и нравственно... Не видишь надежды, вернее, луча надежды, когда-нибудь освободиться от гнета окружающей пустоты... хоть в пустыню удаляйся».

Чокан просит своих петербургских друзей дать слу чаю атбасарского выбора «побольше гласности», но ясно, что особенных надежд на «гласность» он не возлагает. Так и вышло: столичные друзья Валиханова много хлопотали, но состязаться с изворотливыми царскими бюрократами, наторевшими в искусстве выдавать черное за белое, они не могли, и в результате пострадавшим оказался искренний друг Чокана Гутковский, которому предложили подать в отставку.

Хоть в пустыню удаляйся... Чокан так и сделал, правда, еще после одной попытки активной деятельности. Он принял было участие в походе генерала Черняева, считая присоединение Средней Азии к России исторически необходимым. Но, увидев, какими кровавыми методами осуществляет это присоединение царский сатрап Черняев, он в негодовании покинул генеральскую ставку.

Валиханов обогнал свое время. Для человека это порой оборачивается несчастьем. Больше — трагедией. Но для народа это всегда счастье.

Тяжелый тарантас остановился на Березовой горе у каменного столба. Федор Михайлович вышел, подошел к столбу, прочитал вслух на правой его стороне надпись: «Азия». И на левой: «Европа».

Почти десять лет прошло с того дня, как проехал он в кандалах мимо этого столба. Боже мой, десять лет! И каких!

Он достал флягу в плетеном чехле, налил жене, вожчику, инвалиду, сидевшему в будке у столба, себе. Чок-

нулся со всеми. Выпил. Посмотрел вокруг внезапно по-строжавшим взглядом, коротко бросил:

— Ну — в путь!

Он был уверен, что самое тяжелое позади, что если не счастье, то уж покой и волю, пушкинскими словами говоря, он завоевал.

Но я-то, живущий через век после, знаю, что ничего этого не будет. Ни покоя, ни воли.

Будут прежде всего хлопоты, огромные и разнообразные, чтобы выбраться в столицу из Твери, которая ему покажется куда хуже и скучнее Семипалатинска. А когда завершатся хлопоты, пойдут года лихорадки торопливой журнальной работы, оставившей в конце концов горький осадок после себя, будут могилы близких, будет такая долговая кабала, что крик прозвучит в письме Достоевского к старому товарищу Врангелю: «О друг мой, я охотно бы пошел опять на каторгу, на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным».

Предстоит Федору Михайловичу и неделями голодать в немецких гостиницах, ожидая аванса от какой-нибудь редакции. И выпрашивать крошечные суммы у людей, которые неприятны. И годы скитаться по Европе из города в город, тоскуя по родине и боясь вернуться на родину. А когда вернется он все же в дорогое отчество, встретит его один из многочисленных кредиторов и издевательски скажет: «Вот вы талантливый литератор, а я хочу показать, что я, маленький немецкий купец, могу знаменитого русского литератора запрятать в долговую тюрьму». Сколько их будет, таких унижений, бьющих прямо в сердце!

Удастся все-таки Федору Михайловичу расплатиться с долгами — за год до смерти, словно специально для

того, чтобы умереть, не слишком уж беспокоясь о будущем семьи.

Тревожная, напряженная, бедная жизнь. И вряд ли было у него время часто вспоминать край, где он провел пять лет. Разве что в русском посольстве в Копенгагене, прогостиив несколько дней у старого друга Врангеля (заехал Федор Михайлович к нему, конечно же, для того, чтобы занять немного денег), поговорил он о прежних кодах, о Семипалатинске, о «милом Вали-хане» — где-то он, как-то он? К тому времени пройдет уже полгода со дня смерти Чокана, но Достоевский еще не будет знать о ней. Да позже, редактируя «Гражданин» и попав на гауптвахту за публикацию статьи «Киргизские депутаты в С.-Петербурге» (оказывается для напечатания ее требовалось согласие министерства двора), он подивился наверно, как причудливо его жизнь связана со Степью.

Но ему, надо полагать, было бы интересно взглянуть сейчас, век спустя, на тот город на Иртыше, где маршировал он в солдатском мундире, где встречался с благородными людьми, где любил, где творил.

Недавно он, этот город, отпраздновал свое двухсот-пятидесятилетие. За прошедший век он вписал немало страниц в летопись истории и в летопись литературы.

Когда Достоевский уезжал отсюда, мальчику-степняку, кочевавшему со своей семьей в отрогах Чингистауских гор, было четырнадцать лет. Он вырос. Он часто приезжал в Семипалатинск и сроднился с ним. Он стал великим поэтом и мыслителем на берегах Иртыша. Его звали Ибрагимом Куинбаевым, но народ навсегда запомнил его под именем Абая.

Он любил Пушкина, и любимой героиней его — как и Достоевского — стала Татьяна. И он перевел слова, вложенные гением в ее уста, на родной язык, и нежная и прекрасная песня Татьяны зазвучала во всех уголках необъятной Степи.

Он стал мудрецом, учившим своих земляков тому, как искать путь к свету. Он прожил долгую и трудную жизнь. Он еще жил, когда в его родных местах появился на свет другой мальчик, который потом десятилетия посвятил созданию вдохновенного рассказа о жизни Абая. И рассказ этот обошел все страны, покорил людей всех племен и наречий своей поэзией и правдой.

И его, Мухтара Ауэзова, помнит Семипалатинск и молодым, ищущим правильного пути, пробирающимся к нему силой огромного своего дара и неподкупной любви к народу, и зрелым человеком в расцвете таланта и славы, художником и философом, к чьему слову прислушиваются миллионы людей...

...Да, тревожное будущее ждало Федора Михайловича. Но он создал гениальные романы, которые стали достоянием и духовной пищей многих поколений. Его вдохновенная и дерзостная мысль достигла огромных высот, открывая законы жизни, беспощадно разоблачая неправоту мира, где человек человеку волк.

Для нас девизом стали другие слова: «Человек человеку друг». И тут он с нами.

Достоевский любил и искал факты жизни, которые могут становиться символами. Мне кажется символичным, что, когда на его любимый город напали те, кто хотел на тысячу лет утвердить на планете волчье право «сильных», что тогда среди защитников города оказался его внук. Вместе с другими, миллионом других, Андрей Федорович голодал 900 дней, потерял счет бомбежкам и артобстрелам — и выстоял, и победил этих самых «сильных», утвердив достоинство человека.

Наш двадцатый еще — и намного — посложней его непростого девятнадцатого. Многое сплелось в его исполнинском клубке — такой взлет человеческого разума, который даже Достоевский не мог представить, *когда* *он* *в* *ре* *мие*, достойное самых слепых эпох средневековья. Вре-

мена проникают друг в друга, и часто современниками оказываются люди разных эпох, а живущие в одном календарном году принадлежат разным периодам истории. Двойник Достоевского, звавший к смирению, говоривший о красоте страдания, остался в безвозратном прошлом. А Достоевский, великий открыватель мира и мятежник, живет в нашем Сегодня и будет жить в нашем Завтра.

